

РИХАРД. Я думал, ты споешь и посмеешься, а ты... а ты... как враг, как чужой! И ее увлек – вон как она расчирикалась!

КОЗИМА. Дура я, дура! Ведь сотни раз обещала себе не поддаваться на твои просьбы.

Рихард мечется по залу и карикатурно поет арию Виолетты.

РИХАРД. Я ги-и-бну, к-а-а-к роза, от бури ды-ы-ыханья!
КАНАТОХОДЕЦ *(пытаясь вспрыгнуть на канат)*. Надо же, даже петь не умеет, как следует! А еще композитор!

РИХАРД *(успевает сдернуть его с каната)*. Ты у меня сейчас посмеешься! *(Хочет сбросить его с помоста.)*

КОЗИМА *(испуганно)*. Осторожней, Рихард! Я не хотела тебе рассказывать, но лучше расскажу. Помнишь того отважного канатоходца из бродячего цирка? Я узнала, что он недавно погиб.

РИХАРД *(потрясен)*. Как погиб? Разбился?

КОЗИМА. Да, разбился бедняга – сорвался с каната во время представления.

КАНАТОХОДЕЦ. Отпусти меня скорей. Я тоже могу разбиться.

РИХАРД *(бережно ставит канатоходца на рояль)*. Боже, какой ужас! Ведь я мог тебя уронить! Прости меня, я сам не свой в последние дни! У меня голова кругом идет! Ведь мне до сих пор не удалось расплатиться с прошлогодними долгами.

КОЗИМА. Так обидно, что, несмотря на успех, дефицит после фестиваля оказался непомерный.

РИХАРД. И я не почел за стыд, я, Рихард Вагнер, пошел на поклон к сильным мира сего. И где же они, эти богатые покровители искусств?

КОЗИМА. Нашлась только одна старая дама, которая отвалила нам от своей пенсии сто марок. Но что такое сто марок при дефиците в сто пятьдесят тысяч?

РИХАРД. А какой был фестиваль! Просто чудо! "Кольцо Нибелунгов" было сыграно три раза подряд, хотя музыкальные жида заранее присудили, что поставить его невозможно!

КОЗИМА. Но Рихард совершил невозможное, он собрал вместе сто пятьдесят выдающихся музыкантов и создал невидимый оркестр. Он посадил их всех в оркестровую яму, какой больше нет нигде, ни в одном театре мира!

Все это время канатоходец, который стоит на рояле, делает Рихарду какие-то странные знаки, прикладывая руку к щеке.

РИХАРД. Что с тобой? У тебя зуб болит, что ли?

Раздается громкий стук в дверь.

КОЗИМА. Кто это может быть в такой час? *(Идет к двери.)* Кто там?

ГОЛОС. Посылка от господина Шнапауфа!

КОЗИМА *(открывает дверь и берет коробку)*. От какого Шнапауфа? От парикмахера? С чего вдруг?

РИХАРД *(шепотом)*. Я пропал! Посылка от Юдит! Из Парижа!

КАНАТОХОДЕЦ *(Рихарду, шепотом)*. А я тебя предупреждал, но ты – ноль внимания. Теперь расхлебывай как хочешь.

РИХАРД *(подбегает к Козиме и пытается выхватить коробку)*. Это так, ерунда! Я попросил парикмахера купить мне кое-какие вещи.

КОЗИМА *(тянет коробку к себе)*. Какие вещи?

РИХАРД *(вырывает у нее коробку)*. Я ведь не знаю, что он купил. *(Выбегает во внутреннюю дверь.)* Я сейчас посмотрю и тебе расскажу.

КОЗИМА *(бежит за ним)*. Я тоже хочу посмотреть!

КАНАТОХОДЕЦ *(пляшет на канате на уровне второго этажа)*. Она тоже хочет посмотреть, что прислала тебе Юдит!

РИХАРД *(появляется на галерее второго этажа)*. Тебе некогда, ты должна готовить ужин детям!

КОЗИМА *(длинноногая, большими прыжками догоняет малышку Рихарда)*. Я только одним глазком гляну и пойду готовить ужин!

КАНАТОХОДЕЦ *(подлетает к Козиме и повисает у нее на плечах, чтобы ее задержать)*. Куда ты? Ты совсем не думаешь о детях, а им давно пора спать.

Козима отталкивает его, но уже поздно – Рихард захлопывает дверь перед ее носом. Козима плачет.

КАНАТОХОДЕЦ *(обнимает Козиму)*. Не плачь, что тебе до этих тряпок? А внизу тебя ждут голодные дети.

КОЗИМА *(вместе с канатоходцем спускается по канату)*. Я уверена, что Шнапауф тут ни при чем. Это все затеи нахальной парижской кривляки Юдит! Она просто вешается Рихарду на шею!

КАНАТОХОДЕЦ. Ну, что ты несешь? Она ему во внучки годится!

КОЗИМА. Что с того? Я годилась ему в дочери, но это его не остановило! *(Хочет повернуть обратно наверх.)* Нет, я так не могу! Я должна вернуться и узнать, что там, в этой посылке.

КАНАТОХОДЕЦ *(перехватывает ее руку и не пускает)*. Оставь, зачем нарываться на скандал? Ты только рассердишь его и все. *(Подталкивает Козиму вниз.)* Иди к детям, а я поднимусь к нему и выясню, в чем дело.

КОЗИМА *(неохотно подчиняясь)*. И все мне расскажешь?

КАНАТОХОДЕЦ *(удирая наверх)*. Конечно, расскажу.

Канатоходец влетает в окно гардеробной комнаты, где Рихард уже запер двери и поспешно разрезает веревки. Садится на край роскошной ванны, в стену над которой впрессована огромная перламутровая раковина.

КАНАТОХОДЕЦ. Чего ты так торопишься? Даже руки дрожат.

РИХАРД *(жадно запуская руки в глубину коробки, выдергивает оттуда отороченные кружевами сорочки и прижимает их к лицу)*. Чувствуешь, духи Юдит? Мне кажется, что она здесь, рядом со мной!

КАНАТОХОДЕЦ. И какая тебе от этого польза? Ты ведь помнишь, как она отшатнулась, когда ты притянул ее к себе и пытался поцеловать?

Входит Юдит – она молода и прекрасна.

ЮДИТ. Марш Валькирий взволновал меня так же, как когда-то в юности клавир "Летучего Голландца". Я попробовала его сыграть – и мне вдруг открылось величие драмы и музыки. *(Садится к роялю и многократно пытается сыграть трудный пассаж из увертюры "Летучего Голландца".)* Я довела родителей до безумия бесконечными повторами одной и той же мелодии. Они орали, выли, топали ногами, но не могли меня остановить.

РИХАРД *(пытается ее поцеловать)*. Как ты прекрасна!

ЮДИТ *(вскакивает и отталкивает его, так что он отлетает в угол)*. Нет, нет, только не здесь! А вдруг войдет Козима? *(Выбегает.)*

КАНАТОХОДЕЦ. Когда она убежала, ты зажег свет над большим зеркалом и увидел свое старое-старое лицо со сморщенной кожей, вяло обвисающей под подбородком.

РИХАРД (*отшвыривая рубашки*). Ну, зачем ты напоминаешь мне об этом? Зачем?

КАНАТОХОДЕЦ. Затем, чтобы ты не дурил себе голову этой любовью. Ты старик, понимаешь? Старикашка!

РИХАРД. Ты прав! Я тоже на месте Юдит не захотел бы прижаться к такому лицу своими молодыми губами.

КАНАТОХОДЕЦ. Ради чего же рисковать? В конце концов Козима все узнает и не простит.

РИХАРД. Кто знает – может, и простит. Ведь простила же она мой роман с королем Людвигом. А ведь он был не такой платонический, как с Юдит.

КАНАТОХОДЕЦ. Так то был король, он долги твои оплачивал! А теперь – зачем тебе на старости лет рисковать ради платонического романа?

РИХАРД. Именно это мне и нужно – ходить по канату на грани разоблачения. Опасность придает моему роману с Юдит ту остроту, которая подстегивает мои нервы до звенящего напряжения.

КАНАТОХОДЕЦ. Так и сдохнешь от этого напряжения, старый дурак!

РИХАРД. Напряжение необходимо мне для работы над "Парсифалем". "Парсифаль" – моя последняя радость, моя лебединая песня, после нее остается только смерть. (*Звучит "Танец цветов" из "Парсифаля", Рихард, забывши обо всем, испуганно дирижирует.*) Ты слышишь? Слышишь? Ты видишь, как меняются краски и цвета при каждом новом аккорде? Только Рихард Вагнер может создать такую музыку! Слышишь – каждому аккорду соответствует свой цвет?

КАНАТОХОДЕЦ. Не могу сказать, что слышу, но раз ты говоришь, значит, так и есть.

РИХАРД. Ладно, хватит болтать. Лучше посмотрим, что еще прислала мне Юдит. (*Выплескивает на пол два атласных халата.*) Халаты! (*Любовно их разглядывает.*) Розовый и лиловый, как я просил!

КАНАТОХОДЕЦ. Ишь, кружевами обшиты со всех сторон! Интересно, сколько денег ты ей на это перевел?

РИХАРД. Столько, сколько нужно, чтобы она при покупке не думала о цене.

КАНАТОХОДЕЦ. К чему такая роскошь? При твоих-то долгах!

РИХАРД (*снимает домашнюю куртку, надевает лиловый халат и, покачивая бедрами, крутится перед зеркалом*). Да, я расточителен и балую себя роскошью, но мне это необходимо, чтобы воссоздать в музыке мир своей фантазии.

КАНАТОХОДЕЦ. Экий врун! Так я и поверил, что истинная фантазия нуждается в роскоши и баловстве!

РИХАРД (*подобрав фалды подола, привстает на цыпочки и любуется своим отражением*). Разве можно объяснить, какой это адский труд – писать музыку? Этому нельзя научиться, и каждый раз надо начинать сначала. (*Разворачивает пакет, завернутый в газету, вынимает хрустальный флакон.*) Парижские духи – Юдит обо всем подумала!

КАНАТОХОДЕЦ. Интересно, во сколько эти духи тебе обошлись?

РИХАРД. Какая разница? Юдит не останавливается перед ценой. Она понимает, как мне нужны благовония! Ведь я вынужден ограждать свою душу от пошлых, будничных запахов реальной жизни. (*Опрыскивает себя духами и надевает второй халат. Делает пируэт перед зеркалом.*) А ведь хорош, правда, все еще хорош? Парень хоть куда!

КАНАТОХОДЕЦ. Ну, куда-куда с такой одышкой? Двух поворотов толком не сделал, а пыхтишь, как паровоз!

РИХАРД. Ничего – еще минуточка, и одышка пройдет. (*Наклоняется, чтобы поднять упавшую газету, в которую был завернут флакон.*) Надо парижскую газетку выбросить осторожно, чтобы Козима не догадалась, от кого посылка. (*Расправляет газету, чтобы сложить, и вскрикивает.*) Посмотри, кто это? Чей портрет?

КАНАТОХОДЕЦ (*смотрит через его плечо*). Уж не Мишеля ли? Нет, это не он. Или он так изменился? Тяжелый, больной, отечный!

РИХАРД. Конечно, это он, Мишель Бакунин! Разве можно его с кем-нибудь спутать?

КАНАТОХОДЕЦ. Что же о нем пишут?

РИХАРД (*вглядывается в газетную страницу*). Шрифт какой-то мелкий и мутный. (*Хватается за сердце.*) О Боже! Мишель умер!

КАНАТОХОДЕЦ. Тебе, небось, померещилось. Ведь французский у тебя не ахти какой.

РИХАРД. Да нет, я читаю: от десятого июля семьдесят шестого года.

КАНАТОХОДЕЦ. Значит, прошло больше года?

РИХАРД (*читает*). "Неделю назад, 3 июля 1876 года, на православном кладбище швейцарского города Берна были преданы земле останки покойного Мишеля Бакунина. Навсегда ушел от нас мятежник, прирожденный партизан революции".

КАНАТОХОДЕЦ. Выходит, со смерти Мишеля прошло столько времени, а ты и не знал. Даже и не почувствовал, что Мишеля нет в живых.

РИХАРД. А ведь в каком-то затаенном уголке моей души он присутствовал всегда. И саднил, как больной зуб.

КАНАТОХОДЕЦ (*выхватывает газету и читает*). Не забудем его слова: "Буду счастлив, когда весь мир будет пылать в пламени разрушения..."

РИХАРД (*продолжает по памяти*). "...чтобы легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Это буйство похорон и есть моя жизнь..."

КАНАТОХОДЕЦ (*восхищенно*). Точно! Запомнил слово в слово! А ведь сколько лет прошло!

РИХАРД. Почти тридцать! Это было в сорок девятом.

КАНАТОХОДЕЦ (*читает*). "Ни смертный приговор, ни годы тюрьмы не смогли сломить..."

РИХАРД (*плачет*). Боже милосердный! Мишель умер, а я его так и не повидал!

КАНАТОХОДЕЦ. Ладно, нечего нюни распускать! Хотел бы, повидал бы!

РИХАРД. Ты же все знаешь! Ты понимаешь, что я не мог посмотреть ему в глаза? Смертный приговор, годы тюрьмы – и все из-за меня! Подонок я, сволочь последняя!

КАНАТОХОДЕЦ. Ладно, Рихард Гейер, перестань скулить! Его бы все равно схватили, и без тебя. Он был такой авантюрист, всегда лез на рожон.

РИХАРД. Пусть бы схватили, но не по моей наводке! Ты же знаешь, как я его любил! Я всем пожертвовал, чтобы быть рядом с ним! Я на баррикады ради этого пошел!

КАНАТОХОДЕЦ. Ну и дурак! Что ты забыл на баррикадах? Ты был главный дирижер королевской оперы!

РИХАРД. Воистину дурак! Всем пожертвовал и все потерял – имя, родину, музыку! Все-все потерял, и Мишеля тоже! А теперь он умер, его больше нет и никогда не будет!

КАНАТОХОДЕЦ. Ты помнишь, как ты увидел его в первый раз?

РИХАРД. Разве можно это забыть? Я дирижировал Девятую симфонию Бетховена. (*Поворачивается спиной к залу и дирижирует. Звучат последние такты Девятой симфонии.*) Зал был полон... (*Раздается шум оваций.*) Я прошел в гардеробную...

КАНАТОХОДЕЦ (*заглядывает*). К тебе рвется какой-то незнакомый господин в черном фраке. Впустить?

РИХАРД. Впусти.

Входит Мишель в черном фраке – красавец огромного роста.

МИШЕЛЬ (*поднимает Рихарда и держит в руках, как ребенка*). Это было потрясающе! Когда мы уничтожим этот подлый мир, мы оставим только вас и Девятую симфонию Бетховена!

РИХАРД. А зачем этот мир уничтожать?

МИШЕЛЬ (*бережно ставит Рихарда на стул, чтобы говорить с ним, как с равным*). Затем, что вся современная культура прогнила и пора с ней кончать!

КАНАТОХОДЕЦ. А что ты ему ответил?

РИХАРД. Не помню. Может быть, не ответил вовсе. Я не мог оторвать глаз от его прекрасного лица – это был мой Зигфрид. Мне представилось, что я всю жизнь ждал встречи с ним.

Раздается робкий стук в дверь.

ГОЛОС КОЗИМЫ (*за дверью*). Рихард, Рихард! ты выйдешь к ужину? Дети уже сидят за столом.

РИХАРД. Уже иду! (*Поспешно сбрасывает халат и натягивает сброшенную с плеч домашнюю куртку.*) Никак пуговицы не застегну, пальцы совсем не слушаются.

ГОЛОС КОЗИМЫ (*за дверью*). Так ты идешь или нет?

РИХАРД. Иду! Еще секунда и иду! (*Канатоходцу.*) Пальцы занемели, как быть?

КАНАТОХОДЕЦ. Ты слишком разнервничался из-за Мишеля. Давай, я застегну! (*Застегивет.*) Ни к чему показывать при детях, что ты расстроен.

РИХАРД (*по дороге к лестнице*). Дети вовсе не так чувствительны, как ты думаешь. Вчера я застиг их в центре моего могильного холма.

КАНАТОХОДЕЦ. Того самого, который ты насыпал над своей будущей могилой?

РИХАРД. Я спросил, что они делают. Они ответили, что ищут червей для своей черепахи! На моей могиле, представляешь?

КАНАТОХОДЕЦ (*вскакивает на веревку*). Что с них взять? Могила-то будущая, а ты пока еще жив.

РИХАРД. Когда я умру, к этой могиле будут приходить миллионы!

КАНАТОХОДЕЦ (*хихикает*). Миллиарды!
РИХАРД. Да, миллиарды! Я ясно вижу их – вот они толпами
валят к моему театру и часами стоят в очереди за билетами...
ГОЛОС КОЗИМЫ. Так ты идешь или нет?
КАНАТОХОДЕЦ. Хватит! Спускайся с облаков и иди ужинать.
(*Начинает спускаться вниз.*)
РИХАРД. Можно я спущусь с тобой?
КАНАТОХОДЕЦ. Иди лучше по лестнице, так спокойней будет.

*Рихард входит в столовую, садится к столу, канатоходец
спускается по канату и садится на спинку его стула.*

КАНАТОХОДЕЦ (*шепотом*). Ты расскажешь Козиме про Мишеля?
РИХАРД. Не сейчас. А то она спросит, откуда я узнал.
КАНАТОХОДЕЦ. Но надо ей сказать, что он умер. Пусть помянет его перед сном.
РИХАРД. Да что он ей? Она ведь не была с ним знакома. Тогда я был женат на Минне.
КАНАТОХОДЕЦ. Ну конечно! Как я мог забыть? На бывшей артисточке, блядюшке Минне! Она терпеть не могла твоего Мишеля.
КОЗИМА. Что с тобой, Рихард? Ты совсем ничего не ешь.
РИХАРД. Что-то аппетита нет. И голова кружится.
КОЗИМА (*испуганно*). Опять голова кружится? Скорей побегу, принесу капельки, прописанные тебе от головокружения. (*Выходит.*)
РИХАРД. Конечно, Минна терпеть его не могла, особенно после той истории с колбасой.
КАНАТОХОДЕЦ. Что за история? Не помню.
РИХАРД. Я уговорил Минну пригласить Мишеля к нам на ужин.
КАНАТОХОДЕЦ. Ну да, большая победа. Она считала, что ужинать вы должны только тет-а-тет.
РИХАРД. Но Мишель мог прийти только вечером. Он все дни прятался от полиции в каком-то подвале и выходил наружу лишь после наступления темноты.

У стола сидят Рихард и Минна.

МИННА. Не понимаю, что ты нашел в этом русском медведе. Зачем он тебе?
РИХАРД. Он вовсе не медведь, а истинный аристократ.

МИННА. Если он такой аристократ, почему за ним гоняется полиция всех стран Европы?

РИХАРД. Потому что он посвятил свою жизнь борьбе с деспотизмом.

Появляется Мишель все в том же черном фраке, садится к столу.

МИННА. А вам не холодно в этом фраке? Январь у нас холодный.

МИШЕЛЬ. Хотя он не такой холодный, как в России, я был бы рад, если бы вы одолжили мне какой-нибудь шарф.

РИХАРД. Шарф? Я сейчас поищу. *(Выбегает.)*

МИННА. Но почему бы вам не носить пальто?

МИШЕЛЬ. Потому что ни у кого нет пальто моего размера.

МИННА. Но разве нельзя купить?

МИШЕЛЬ. Неужто Рихард не говорил вам, что я не признаю ни денег, ни собственности?

РИХАРД *(возвращается с шарфом)*. Вот шарф! Отличный, я вам его дарю.

МИННА. Не дари! Он же не признает собственности.

РИХАРД. Тогда давайте ужинать. Ведь все, что мы съедим, становится нашей собственностью. *(Минна выходит.)* Вы ведь признаете немецкую колбасу, Мишель?

МИШЕЛЬ. И еще как! У нас в России немцев называют колбасниками.

КАНАТОХОДЕЦ. Внимание! *(Минна входит с большим блюдом, наполненным тонко нарезанными колбасами разных сортов.)* Грядет колбаса!

МИННА. Вот наша немецкая колбаска. *(Ставит на стол хлебницу.)* А вот наш немецкий хлеб для бутербродов!

МИШЕЛЬ. Зачем портить колбасу хлебом?

РИХАРД *(берет ломтик хлеба и делает то, что говорит)*. Мы тоненько намазываем на хлеб масло и кладем сверху ломтик колбаски...

МИШЕЛЬ. А мы делаем иначе! *(Протягивает огромную руку к блюду с колбасой, загребает полную горсть колбасных ломтиков и разом забрасывает их в рот.)*

МИННА *(потрясена)*. Ах! Что вы делаете?

МИШЕЛЬ. А зачем церемониться с каждым кусочком, когда горстью гораздо вкусней?

МИННА. Но так же нельзя!

МИШЕЛЬ. Кто определил, что можно и что нельзя? Когда мы покончим с вашим гнилым обществом, мы покончим со всеми вашими нельзя!

МИННА (*нервно вскакивая*). Мне что-то нездоровится. Я пойду лягу. А уж вы тут как-нибудь сами посумерничайте. Эту лампу я возьму, а вам зажгу другую. (*Ставит на стол перед Рихардом лампу и уходит.*)

МИШЕЛЬ. Я, кажется, ее испугал?

РИХАРД. Она в последнее время стала очень пуглива. А какая раньше была оторва – то и дело сбегала с каким-нибудь офицером. Я с ума сходил от ревности... (*Прикрывает глаза рукой.*)

МИШЕЛЬ. Я всегда говорил, что от баб надо держаться подальше!

РИХАРД (*продолжая прикрывать глаза ладонью*). Но я так ее любил, так боялся ее потерять!

КАНАТОХОДЕЦ. А я все спрашивал – на черта она тебе сдалась, такая блядища?

РИХАРД. Ты помнишь ту маленькую шхуну, на которой мы бежали от кредиторов?

КАНАТОХОДЕЦ. Из Риги в Лондон, да? Вскоре после женитьбы? Когда случился ужасный шторм?

Шторм. Рихард и Минна стоят на палубе шхуны, которую шторм с воем швыряет то вниз, то вверх.

МИННА. Мы утонем? (*Начинает громко молиться.*) Боже, великий и милосердный, не дай бушующей стихии поглотить нас с Рихардом по отдельности, пусть лучше нас убьет удар молнии, пока мы вместе!

РИХАРД (*все так же прикрывая глаза рукой*). В ее молитве под свист ветра и рев моря была дивная музыка, которая легла в основу увертюры к "Летучему Голландцу". И за это я прощаю ее глупые претензии, ее пронзительный голос, и даже ее неспособность понять глубину моих замыслов.

МИШЕЛЬ. Почему вы прикрываете глаза?

КАНАТОХОДЕЦ. Они болят у него от яркого света.

МИШЕЛЬ (*поднимает руку так, что она заслоняет Рихарду лампу*). Так будет лучше?

РИХАРД. Так он и просидел все два часа нашей беседы, держа свою ладонь между мною и лампой.

Входит Козима, Мишеля она не видит.

КОЗИМА. Вот твои капли. Ты так ничего и не съел? Хочешь колбаски? *(Ставит на стол блюдо с тонко нарезанными колбасами.)*

РИХАРД *(протягивает руку к блюду, загребает полную горсть колбасных ломтиков и разом забрасывает их в рот)*. Прекрасная немецкая колбаска!

КОЗИМА *(потрясена)*. Ах!

КАНАТОХОДЕЦ. Что ты делаешь?

РИХАРД. Я всего лишь помянул Мишеля. *(Козиме.)* Ты так устала. Иди спать, детка, а я еще поколдую над книгами.

КОЗИМА *(по пути к двери)*. Что же было в этой посылке?

РИХАРД. Ты сейчас ложись спать, я тебе утром расскажу.

КОЗИМА *(приостанавливаясь)*. Расскажи сейчас.

КАНАТОХОДЕЦ *(подталкивая ее к лестнице)*. Иди, иди спать – ведь с ног валишься.

Козима неохотно идет наверх, канатоходец бежит вслед за ней по веревке.

РИХАРД. Она легла?

КАНАТОХОДЕЦ *(возвращается)*. Она поднялась из гардеробной наверх, в спальню. Можешь идти.

Рихард идет на цыпочках в лиловый салон Козимы и открывает ящик бюро.

КАНАТОХОДЕЦ. Что ты ищешь?

РИХАРД. Дневник Козимы. Мне необходимо вспомнить, чем я был занят в тот день, когда Мишель умер. *(Листает дневник.)* Вот – 1 июля прошлого года: первый прогон "Сумерек богов".

КАНАТОХОДЕЦ. Подумай – первая воплощенная на сцене смерть Зигфрида в день смерти Мишеля!

РИХАРД. Все то время, когда я писал о Зигфриде, я видел перед собой Мишеля. Он, как и Зигфрид, рожденный от предков, тосковавших по солнцу в сумрачных лесах, мог ощущать истинный вкус жизни только на грани гибели, на краю пропасти.

КАНАТОХОДЕЦ. Сознайся, Рихард Гейер, ведь именно эта особенность арийской души, совершенно тебе чуждая, приводит тебя в трепет?

РИХАРД. Что ты знаешь о трепете? О, как я трепетал, гуляя по ночам с Мишелем по набережным Эльбы!

КАНАТОХОДЕЦ. Почему по ночам?

РИХАРД. Я же рассказывал – Мишель прятался от полиции и выходил подышать только ночью.

КАНАТОХОДЕЦ. А почему прятался?

РИХАРД. На него розыск был объявлен по всей Европе – во время революции он сражался на баррикадах в Париже и в Праге.

КАНАТОХОДЕЦ. Просто сражался или вел народ в бой?

РИХАРД. Ты же знаешь Мишеля – чем бы он ни занимался, он всегда вел народ в бой.

В ночном сумраке появляется огромная фигура Мишеля, за ним, как собачка на привязи, бежит крошечный Рихард.

РИХАРД. Не так быстро, Мишель, я за тобой не поспеваю.

МИШЕЛЬ. Прости. За день ноги так затекают, что необходимо их размять. *(Поднимает Рихарда и сажает к себе на бедро, как ребенка.)* Слушай – тогда в Париже был месяц духовного пьянства. Я был целый день на ногах, участвовал во всех собраниях, процессиях, демонстрациях. Я втягивал в себя всеми порами упоительную революционную атмосферу.

РИХАРД *(касается пальцами лица Мишеля)*. Сейчас я наконец могу рассмотреть твоё лицо. О таком лице я мечтал, когда представлял себе своего Зигфрида.

МИШЕЛЬ *(в экстазе, не слушая)*. Я, Мишель, послан провидением для всемирных переворотов. Я свергну презренные формы предрассудков, вырву народы из объятий деспотизма и вкину их в мир новый, святой, в гармонию беспредельную!

РИХАРД. Как же ты это сделаешь?

МИШЕЛЬ *(упоенно)*. Для этого нужно создать тайную сеть борцов за свободу. Такие маленькие группки, не знакомые друг с другом и повязанные общим кровавым преступлением. Они будут взрывать мосты, бросать бомбы, сбрасывать под откос поезда!

РИХАРД. А зачем?

МИШЕЛЬ. Чтобы встряхнуть этот мерзкий застойный порядок! Чтобы вдохнуть свежий ветер в окаменевшие мозги!

РИХАРД. Но ведь прольется невинная кровь!

МИШЕЛЬ. Конечно, прольется! Кровь должна пролиться, когда рушатся миры. Я вижу, как через сто лет весь человеческий

студень будет дрожать от страха перед кучкой героев, отважившихся на подвиг ради всеобщей свободы.

РИХАРД. Свободы от чего?

МИШЕЛЬ. Свободы от всего! Это будет очень скоро – пусть не завтра, но послезавтра. Я вижу, вижу, как горят города и рушатся стены!

РИХАРД. И тебе никого не жалко?

МИШЕЛЬ. Жалость – жалкая чушь, когда речь идет об освобождении от пут законов!

Из темноты появляется Минна.

МИННА. Рихард, не пора ли вернуться домой? Хватит бродить по ночам с этим варваром, который даже колбасу не умеет есть по-людски!

РИХАРД. Ты не понимаешь – когда я с ним, в моей душе рождается великая музыка будущего!

МИННА. Врешь ты все про музыку будущего. Знаю я твои штучки! Ты просто в него влюблен!

РИХАРД. Что ты несешь? Какие штучки?

МИННА. Ты хочешь, чтобы я перечислила твоих возлюбленных дружков? Назвала их по именам? Или по датам?

Перед ними проходит вереница теней мужского пола.

МИННА (указывая то на одного, то на другого). Этого? Или того? А может, этого?

КАНАТОХОДЕЦ (соскакивает с веревки и затыкает Минне рот). Тс-с-с! Или ты хочешь его погубить?

МИННА (вырываясь). Лучше погубить, чем дать ему ночи напролет таскаться с этим...

КАНАТОХОДЕЦ (утаскивает Минну в темноту). Пошла вон, дуреха!

ГОЛОС МИННЫ. Влюблен! Опять влюблен!

МИШЕЛЬ. И как только ты ее терпишь?

РИХАРД. Бог с ней, Мишель. Пойдем, я покажу тебе главную жемчужину Дрездена.

Из темноты выплывает Королевская картинная галерея Цвингер.

РИХАРД. Видишь это красивое здание? Это Королевская картинная галерея Цвингер. Равной ей нет в мире. Тут собраны лучшие творения художников всех времен.

МИШЕЛЬ. Например?

РИХАРД. Например, Сикстинская мадонна Рафаэля.

МИШЕЛЬ. А что в ней особенного? Хорошенькая горничная держит в руках незаконнорожденного младенца.

РИХАРД. Ах, так ты там был?

МИШЕЛЬ. Я разок заглянул туда, чтобы понять, кому этот мертвый хлам нужен.

РИХАРД. И что решил?

МИШЕЛЬ. Решил, что никому.

КАНАТОХОДЕЦ. Кому-то все-таки нужен, если твои русские потомки через сто лет украли его отсюда и спрятали глубоко в подвалы, чтобы не отдавать.

МИШЕЛЬ *(с надеждой)*. И сожгли?

КАНАТОХОДЕЦ. Нет, долго отпирались, а лет через пятьдесят все же вернули хозяевам, хотя им очень не хотелось.

МИШЕЛЬ. Жаль, лучше бы сожгли! Представляю себе, как роскошно бы это старье полыхало в пламени революции!

КАНАТОХОДЕЦ. Минна права – и за этим чудовищем ты пошел на баррикады?

РИХАРД. Я бы пошел за ним на край света, если бы он меня позвал!

КАНАТОХОДЕЦ. Ну, а он что?

РИХАРД. А он бы за мной не пошел. Вокруг него было полно любимцев и поклонников, помоложе и покрасше меня. Один пианист из Парижа таскался за ним по всей Европе. И какие-то пражские студенты дни и ночи торчали в его холодном подвале. Зачем же ему был нужен я?

КАНАТОХОДЕЦ. Но и ты ведь не хрен собачий, а великий композитор Рихард Вагнер. Он сам сказал, что тебя он оставит в своем новом мире.

РИХАРД. Тебе хорошо говорить – ты молодой и красивый. Ты высокий и стройный, а не Карлик Нос вроде меня.

КАНАТОХОДЕЦ. Это ты видишь меня высоким и стройным. Таким, каким хотел бы быть сам... *(Настораживается.)* Т-с-с! Помоему, наверху скрипнула дверь!

РИХАРД. Козима! Спускается проверять, почему я не иду спать. *(Хватает с полки книгу, прячет дневник под рубашку и кладет на него книгу. Храпит.)* Хр-р-р! Хр-р-р!

Козима в ночной рубашке спускается по лестнице, входит в салон и склоняется над Рихардом, пытаясь рассмотреть лежащую у него на груди книгу. Не решаясь разбудить его, на цыпочках уходит наверх, но идет не в спальню, а в гардеробную Рихарда. Открывает шкафы и находит оба халата и стопку кружевных сорочек. Тем временем Рихард вытаскивает дневник из-за пазухи и опять роется в ящике.

КАНАТОХОДЕЦ (*шепотом*). Чего тебе еще надо?

РИХАРД. Хочу найти приказ начальника полиции о розыске некого Рихарда Вагнера. Вот он! (*Вынимает из ящика пожелтевшую газетную страничку, читает*): "Возраст – 36 лет, рост – низкий, волосы – темно-русые, нос длинный".

КАНАТОХОДЕЦ. Мне кажется, это ты.

Свет гаснет и тут же зажигается – уже утро. Рихард и Козима сидят за столом, накрытым для завтрака.

КОЗИМА. Что это за новые халаты?

РИХАРД. А, ты их уже видела? Это парикмахер Шнапауф заказал у своего мюнхенского портного по моим чертежам. Они тебе понравились?

КОЗИМА. Они, небось, стоят безумно дорого!

РИХАРД. Что делать? Роскошь необходима моей душе во время напряженной работы!

КОЗИМА. Я боюсь, ты работаешь слишком напряженно.

За спиной Козимы появляется канатоходец.

КОЗИМА. Вот вчера ты так заработался, что забыл лечь спать. Я проснулась среди ночи, а тебя нет. Я вылезла из постели и спустилась в салон. Там горел свет, а ты спал в кресле, держа в руках раскрытую книгу Шлегеля "Греки и римляне".

КАНАТОХОДЕЦ (*хохочет*). Значит, это была книга Шлегеля? А ты и не заметил!

РИХАРД. Мне что-то не по себе, перед глазами все плывет. Не принять ли мне теплую ванну?

КОЗИМА. Конечно, конечно, дорогой. Я распоряджусь, чтобы через десять минут ванна была готова.

Рихард поднимается в гардеробную, канатоходец спешит за ним. Рихард захлопывает перед ним дверь, но канатоходец протискивается через форточку.

РИХАРД. Ну что ты меня преследуешь?

КАНАТОХОДЕЦ. Я хочу тебе помочь. Ведь ты не собираешься мокнуть в этой ванне?

РИХАРД. А как ты можешь мне помочь?

КАНАТОХОДЕЦ (*поспешно раздевается и прыгает в ванну*). Я помокну вместо тебя. (*Плещется с наслаждением.*) Давно мечтал помыться! Я так завонялся, что на меня даже знакомые собаки начали лаять.

ГОЛОС КОЗИМЫ (*за дверью*). Не очень заливай пол! У Марии болит спина, ей будет трудно вытирать лужи!

КАНАТОХОДЕЦ. Я так и знал, что она будет подслушивать. Что бы ты делал без меня?

РИХАРД (*усаживается в кресло перед зеркалом*). Ну, раз ты здесь, так помоги мне вспомнить тот ужасный май, когда мы с Мишелем повели народ в бой против могучей армии прусского короля.

КАНАТОХОДЕЦ (*намыливает мочалку*). Это мыло тоже прислала Юдит? (*Нюхает пену.*) Какой аромат! Ты говоришь, вы с Мишелем повели народ в бой? Что-то я не помню тебя в первых рядах бойцов. Уж не сидел ли ты все эти дни на верхней площадке пожарной башни?

РИХАРД. Ну и что? Кто-то ведь должен был наблюдать за боем, чтобы координировать военные действия?

КАНАТОХОДЕЦ. Значит, ты наблюдал, а Мишель координировал? А как вы оба в эту кашу попали?

Выплывает набережная Эльбы, Мишель во фраке шагает впереди, за ним почти бегом семенил Рихард. Уже весна – Мишель без шарфа.

РИХАРД. Ты понимаешь, король нарушил все договоры. Он отказался подписать новую конституцию и разогнал парламент.

МИШЕЛЬ. Не все ли равно, кто правит – король или парламент? И тех, и других надо гнать в шею.

РИХАРД. А кто вместо них будет править?

МИШЕЛЬ. Править должен свободный народ!

РИХАРД. Какой народ ты называешь свободным?

МИШЕЛЬ. Свобода – продукт коллективный. Мы ее должны создать сами, могуществом нашей мысли и силой наших рук.

РИХАРД. Значит, ты одобряешь наше решение поднять восстание?

МИШЕЛЬ. Смотря чего вы хотите добиться.

РИХАРД. Ясно чего. Чтобы король снова собрал парламент и подписал новую конституцию.

МИШЕЛЬ. Такое пошлое восстание я ничуть не одобряю. Я считаю вашу революционную затею мелкотравчатой и буржуазной. Ради нее не стоит строить баррикады.

РИХАРД. Но ты все же придешь завтра на заседание нашего временного правительства?

КАНАТОХОДЕЦ (*намыливая голову*). Зачем же ты его звал после того, как он обозвал вашу революцию мелкотравчатой?

РИХАРД. Честно? Я жаждал, чтобы он увидел меня среди борцов на баррикадах. Я давно понял, что он не ценит создателей опер, он ценит только разрушителей, людей действия и отваги.

КАНАТОХОДЕЦ. Значит, ты надеялся выглядеть человеком действия и отваги? Чего же ты сбежал с баррикады на верхушку пожарной башни?

РИХАРД. Понимаешь, моя жизнь не принадлежит мне. Еще не созданные, но уже оплодотворенные моим гением замыслы стремятся вырваться наружу. И я не смею подвергать себя опасности. А Мишелю опасность была нипочем, Мишель обожал опасность! Он ради нее пришел в ратушу на заседание нашего временного правительства.

Мишель стоит перед невидимой аудиторией.

МИШЕЛЬ. Меня поражает детская неэффективность мер, принятых вами для защиты от прусских войск.

ГОЛОС. Но мы надеемся, что защищаться не придется.

МИШЕЛЬ. Вы надеетесь, что прусские войска отступят без боя?

ГОЛОС ИЗ АУДИТОРИИ. Мы предлагаем королю очень разумный компромисс.

МИШЕЛЬ. А зачем королю компромисс, когда на Дрезден идет армия, готовая вас раздавить?

ГОЛОС ИЗ АУДИТОРИИ. Так что же делать?

МИШЕЛЬ. Защищаться! Но не так, как вы задумали!

ГОЛОС. Вы возьмете на себя руководство?

МИШЕЛЬ. Я не склонен принимать участие в таком любительском спектакле.

ГОЛОС ИЗ АУДИТОРИИ. Но, может, вы согласитесь быть нашим военным советником?

МИШЕЛЬ. Ладно. Пожалуй, я научу вас строить баррикады.

Улица. Прямо на глазах возводится баррикада. Мишель громовым голосом отдает команды.

МИШЕЛЬ. Валите оба дерева и укладывайте поперек! Мешки с песком – сюда! А эту прореху засыпать булыжниками!

РИХАРД. Мишель уже забыл о своем презрении к нашему мелкотравчатому мятежу. Его увлекала сама стихия революционной динамики: треск выстрелов, запах пороха и вкус опасности.

Вбегает человек в картузе.

ЧЕЛОВЕК В КАРТУЗЕ (*кричит возбужденно*). Пруссаки уже здесь! Передовые части входят в город!

МИШЕЛЬ. Ничего, пускай входят! Им будут не по зубам наши баррикады.

Начинается артобстрел. Несмолкаемый грохот орудий безжалостно долбит по мозгам. Рихард карабкается по пожарной лестнице на башню.

КАНАТОХОДЕЦ (*пытаясь его удержать*). Ты куда?

РИХАРД. Ты слышишь этот грохот? Я не смею подвергать себя опасности. Я обязан осуществить свои гениальные замыслы!

Где-то совсем близко раздается сильный взрыв и вспыхивает огромный пожар.

ГОЛОСА. Снаряд попал в оперный театр! Опера горит! Пожар! Наша прекрасная опера!

КАНАТОХОДЕЦ. Опера горит, а ты прячешься на башне!

РИХАРД. Опера горит, а ты хочешь, чтобы я спустился вниз и тоже сгорел?

ГОЛОСА. Опера горит! Они сейчас разрушат наши баррикады!

В дыму возникает огромная фигура Мишеля с картиной в руках.

МИШЕЛЬ. Ничего они не разрушат! *(Карабкается на вершину баррикады и устанавливает там картину.)* Пусть только попробуют!

ГОЛОС. Что вы делаете? Это же Сикстинская мадонна!

МИШЕЛЬ. Именно Сикстинская мадонна! В нее они стрелять не станут!

ГОЛОС. А если станут?

МИШЕЛЬ. Тем лучше, пусть на них падет позор этого варварства!

ГОЛОС. Но Мадонна погибнет!

МИШЕЛЬ. Подумаешь! Одной хорошенькой горничной будет меньше!

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ *(выбегает и хочет поднять картину)*. Нельзя допустить, чтобы мадонна Рафаэля погибла! *(Картина для него слишком тяжела, он не может ее поднять.)* Помогите же мне, Мишель.

МИШЕЛЬ. Ну, если вам эта мазня дороже жизни, я могу унести ее обратно. *(Уносит картину и быстро возвращается на баррикаду.)* Где же ваши пруссаки? Если они утром вошли в пригороды, им уже давно пора быть здесь, чтобы мы показали им кузькину мать!

РИХАРД. С высоты пожарной башни хорошо видно, как пруссаки продвигаются по городу. Они врываются в дома, разбирают стены и переходят из дома в дом без всякого риска.

КАНАТОХОДЕЦ *(надевает картуз и выбегает к баррикаде)*. Ну и трусы эти пруссаки! Что им баррикады? На уличные бои они не решаются. Они проходят сквозь стены.

1-Й ГОЛОС. Вот почему они движутся так медленно!

2-Й ГОЛОС. А куда им спешить? В конце концов они нас всех перебьют, как котят.

НЕСТРОЙНЫЕ ГОЛОСА. А как же баррикады? Зачем мы строили баррикады?

МИШЕЛЬ. К черту баррикады! Давайте сожжем все деревья вдоль Эльбы – пусть пруссаки задохнутся в дыму.

1-Й ГОЛОС. Но это столетние деревья! Гордость нашего города!

2-Й ГОЛОС. Их выращивали наши деды и прадеды!

МИШЕЛЬ. Значит, деревья вам дороже свободы?

РИХАРД. Они там болтают, а пруссаки уже здесь. Они убивают всех подряд. *(Поспешно спускается с башни.)* Бежать, бежать скорей! *(Канатоходцу.)* Иди, скажи им, чтобы разбегались, пока еще можно!

Рихард убегает. Грохот канонады усиливается.

КАНАТОХОДЕЦ (*выбегает к баррикаде*). Пруссаки уже здесь! Унесите ноги, пока их не отрубили!

МИШЕЛЬ. Куда вы? Не разбегайтесь! Кто же будет защищать ваш город?

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ (*тащит Мишеля за руку*). Идемте отсюда, Мишель. Пруссаки уже захватили весь город.

МИШЕЛЬ. Значит, все кончено? (*Вырывается.*) Этого нельзя допустить! Ведь только такая жизнь имеет смысл, всякая другая просто тусклое прозябание. (*Кричит громовым голосом.*) Солдаты революции! Вернитесь на баррикады! Ведь выбор всего лишь между смертью позорной и смертью почетной! Солдаты революции! Вернитесь в строй!

КАНАТОХОДЕЦ. Кто бы мог подумать? Защитники баррикады в ответ на его призыв вернулись на площадь!

МИШЕЛЬ. Все на месте? А где же Рихард?

КАНАТОХОДЕЦ. Рихард, где ты? Где ты, Рихард?

РИХАРД (*бежит по извилистым тропкам, переваливаясь через изгородь*). Какой ужас! Все дороги перекрыты наступающей лавиной прусских войск.

КАНАТОХОДЕЦ (*догоняет его семимильными шагами*). Куда ты бежишь, как угорелый?

РИХАРД. Битва проиграна, даже не начавшись. Впереди разгром, тюрьма, и возможно гибель. (*Вбегает в свой дом, кричит испуганной Минне.*) Собирай пожитки! Мы должны бежать отсюда!

МИННА. Куда бежать? На чем?

РИХАРД. В Хемниц, к моей сестре Кларе! Мне чудом удалось нанять повозку.

МИННА. Но Кларин муж – помощник начальника полиции Хемница! Он тебя арестует!

РИХАРД. Клара не позволит ему меня арестовать!

Рихард с зеленым попугаем в руках и Минна с собачкой едут в повозке под грохот канонады.

РИХАРД (*затыкая уши*). Я глухну от этого грохота!

МИННА (*дрожая*). Мы погибнем?

ПОПУГАЙ. ...погибнем!

МИННА (*дрожая*). Нас убьют?

ПОПУГАЙ. ...убьют!
РИХАРД (*дрожа*). Не знаю, не знаю!
ПОПУГАЙ. ...не знаю, не знаю!
РИХАРД (*щелкает попугая по голове*). Да замолчи ты, попка-дурак!
ПОПУГАЙ. Сам попка-дурак!
РИХАРД. И без тебя тошно – руки дрожат, глаза застилает пелена, все тело обсыпает потом, так страшно.
ПОПУГАЙ. ...страшно, страшно!

Повозка въезжает во двор Клары. Клара и ее муж – зять Рихарда – выбегают навстречу.

ЗЯТЬ. Рихард, пока женщины готовят ужин, пройдем в мой кабинет. Мне надо поговорить с тобой наедине.

Они входят в кабинет, канатоходец пытается протиснуться за ними.

РИХАРД (*выталкивает его*). Ты же слышал – наедине!
ЗЯТЬ. Признайся, ты у себя в Дрездене сильно замешан в беспорядках?

РИХАРД (*слабым голосом*). С чего ты взял?
ЗЯТЬ. А с того, что вчера приказик пришел. От высшего начальства. Хочешь послушать? (*Берет со стола листок, читает.*) "Разыскивается в связи с недавними беспорядками, в которых он принимал активное участие, Рихард Вагнер, королевский капельмейстер города Дрездена. Возраст – 36 лет, рост – низкий, волосы – темно-русые, носит очки. В случае ареста, немедленно доложить по начальству. Фон Коппель, помощник начальника полиции города Дрездена. Май, 1849".

РИХАРД. Меня? Арестовать? Почему именно меня?
ЗЯТЬ. Не одного тебя, конечно, а все ваше никудышное правительство. И твоих дружков из оперы и твоего русского медведя. Скажи, зачем он полез в чужие дела? Да и ты зачем полез, в толк не возьму.

Кухня. Минна и Клара готовят ужин

КЛАРА. Скажи, зачем он полез на эти баррикады? Чего ему не хватало? Ведь он был главный дирижер королевской оперы!

МИННА. Хочешь знать правду? Он влюбился в этого русского дикаря.

КЛАРА. Что значит – влюбился?

МИННА. А то и значит, что ты подумала.

КЛАРА. Не может быть! Наш Рихард не такой!

МИННА. Ваш Рихард именно такой! Будто ты его не знаешь! Он просто с ума сошел от этой любви. По ночам не спал, таскался за этим медведем по городу, все мечтал написать с него Зигфрида.

КЛАРА. А тот что?

МИННА. А тому любовь Рихарда была ни к чему. Ему нужно было всегда и всюду лезть на рожон – воевать, убивать, разрушать!

Кабинет зятя.

ЗЯТЬ. Такой город разорили.

РИХАРД *(как эхо)*. ...разорили.

ЗЯТЬ. Оперный театр сожгли...

РИХАРД *(как эхо)*. ...сожгли.

ЗЯТЬ. Столетние деревья порубили...

РИХАРД *(как эхо)*. ...порубили.

ЗЯТЬ. А для чего? Чтобы после первого же выстрела разбежаться? Не начинали бы, раз воевать не умеете.

РИХАРД *(как эхо)*. ...не умеете.

ЗЯТЬ. Да брось ты повторять, как попугай!

РИХАРД. Как же быть?

ЗЯТЬ. Я бы с удовольствием сгноил тебя в тюрьме, да Клара мне жить не дает, все плачет, чтобы я тебя выручил.

РИХАРД *(хрипло)*. Хочешь, я сейчас уеду? Прямо отсюда, из Хемница? В Веймар, там Лист готовит постановку моего "Лозэнгина"?

ЗЯТЬ. Уедешь, как же! Тебя тут же схватят, на каждой пограничной станции есть твое описание.

РИХАРД *(ломая руки)*. Что же мне делать?

ЗЯТЬ. Я бы мог вывезти тебя в своей коляске... *(Замолкает, давая время этим словам проникнуть в душу Рихарда.)*

РИХАРД. ...но?

ЗЯТЬ. ...но я не могу это сделать без твоей помощи.

РИХАРД. Чем же я могу помочь?

ЗЯТЬ. Ты можешь помочь мне арестовать твоих дружков!

РИХАРД. Нет, нет! Ни за что!

ЗЯТЬ. Брось миндальничать! Их все равно схватят, не сегодня, так завтра. Так почему бы не сделать это моей заслугой?

РИХАРД. ...заслугой.

ЗЯТЬ. Подкинь их мне – и считай, что ты уже в Веймаре.

РИХАРД (*дрожит*). Но как же я? Как же они? Ведь мне не простят...

ЗЯТЬ. Да кто узнает? Мы обделаем это дельце шито-крыто. Ты только не болтай и все будет в порядке.

РИХАРД (*громко рыдая*). Но ведь нельзя же! Нельзя!

ЗЯТЬ. Значит, договорились? (*Рихард кивает.*) Завтра утром ты отправишься в Дрезден...

РИХАРД (*рыдая*). Зачем в Дрезден?

ЗЯТЬ. ...и скажешь им, что рабочие Хемница готовы их поддержать.

РИХАРД (*рыдая*). Я не хочу в Дрезден! Не хочу назад в Дрезден! Там стреляют!

ЗЯТЬ. А в тюрьму хочешь? (*Протягивает руку.*) Так нам это недолго.

РИХАРД (*шарахается от него*). Ладно, я поеду, поеду. А зачем?

ЗЯТЬ. Чтобы уговорить их направиться в Хемниц.

РИХАРД. А зачем?

ЗЯТЬ. Затем, чтобы я мог их арестовать.

РИХАРД. А зачем тебе их арестовывать?

ЗЯТЬ. Что ты заладил – зачем, зачем? Да затем, чтобы их не арестовал кто-нибудь другой.

РИХАРД (*выбегает из кабинета, подбегает к Минне, стоящей с попугаем на плече*). Минна, я возвращаюсь в Дрезден!

МИННА. Зачем?

ПОПУГАЙ. Зачем?

РИХАРД. Что вы заладили – зачем, зачем? Раз возвращаюсь, значит, так нужно. (*Отправляется в путь в той же повозке.*)

МИННА (*протирая руки*). Вернись, Рихард! Вернись!

ПОПУГАЙ. Вернись!

КАНАТОХОДЕЦ (*подсаживается в повозку*). Куда тебя несет?

РИХАРД. В Дрезден.

КАНАТОХОДЕЦ. Зачем?

РИХАРД. Затем, чтобы выдать этому негодяю Мишеля...

КАНАТОХОДЕЦ (*в ужасе*). Выдать Мишеля?

РИХАРД. ...и всех остальных.

КАНАТОХОДЕЦ. Зачем ты хочешь выдать их всех этому негодяю? Зачем?

РИХАРД. И ты туда же – зачем, зачем?

КАНАТОХОДЕЦ. Но все-таки, зачем?

РИХАРД *(плачет)*. Неужели ты думаешь, что я хочу их выдавать? Или что я хочу ехать назад, в Дрезден? Да у меня от страха все поджилки трясутся!

КАНАТОХОДЕЦ. Не хочешь, так и не езжай!

РИХАРД. Ты хочешь, чтобы меня посадили в тюрьму? И приговорили к смертной казни? Кто тогда напишет моих Нибелунгов? *(Рыдает.)* Без меня не будет ни Зигфрида, ни Валькирий! *(Раздается грохот артиллерийской канонады, Рихард затыкает уши.)* Я умру от этого грохота! Может, лучше вернуться? Пусть сажают в тюрьму!

КАНАТОХОДЕЦ. Что ты трясешься? Раз надо ехать в Дрезден – поехали!

Повозка пускается вскачь. Действие возвращается в ванную.

РИХАРД. Эту была ужасная поездка! Все дороги были перекрыты, так что в город можно было пробраться только окольными путями.

КАНАТОХОДЕЦ *(поднимаясь из воды)*. Дай полотенце! *(Вытирается.)* По пути нам то и дело встречались остатки нашей боевой армии, бегущей с поля боя. Дай халат! *(Рихард снимает халат с двери.)* Нет, не этот, а новый – розовый. *(Надевает розовый халат, вылезает из ванны и крутится перед зеркалом.)* На мне этот халат сидит лучше, чем на тебе.

РИХАРД. О чем ты думаешь в такую минуту? Я переживаю свое горе, свой позор, а ты занят своей красотой!

КАНАТОХОДЕЦ. Потому что позор был твой, а не мой. Я ведь отговаривал тебя от сделки с этим зятем.

РИХАРД. И что бы со мной случилось? Даже страшно подумать!

КАНАТОХОДЕЦ. Раз так – успокойся и будь доволен, что сумел удрать от наказания.

РИХАРД. Я-то удрал, а бедный Мишель получил по полной катушке. *(Плачет.)* Страшно подумать, какие пытки он перенес! И это я – Я! Я! – заманил его в ловушку.

КАНАТОХОДЕЦ. Как же ты его заманил? Я что-то подзабыл.

ГОЛОС КОЗИМЫ. Рихард, ты в порядке? Ведь нельзя столько времени сидеть в ванне – это вредно для сердца.

РИХАРД. Я уже выхожу! *(Срывает с канатоходца халат.)* Быстрей одевайся и вали отсюда! Встретимся через час в парке.

КАНАТОХОДЕЦ. Она же тебя не выпустит сразу после ванны!

РИХАРД. А спорим – выпустит! *(Открывает дверь, говорит Козиме.)* Ох, и напарился же я! Теперь хорошо бы часок погулять – и можно за работу.

КОЗИМА. Погулять? После горячей ванны? Ты с ума сошел!

КАНАТОХОДЕЦ *(появляется за спиной Козимы)*. Ну, что я говорил?

РИХАРД. Мне необходимо проветриться – у меня после ванны голова кружится.

КОЗИМА. Хорошо, раз голова кружится, выйди ненадолго. Только надень теплые боты, вон сколько снега навалило.

РИХАРД *(надевая боты, про себя)*. Ладно, боты, так боты, лишь бы она отстала!

КОЗИМА: А горло замотай шарфом!

Рихард, закутанный в мохнатый плед, идет по парку, Канатоходец прыгает за ним с ветки на ветку.

КАНАТОХОДЕЦ. Она превращает тебя в старика!

РИХАРД. Знаешь, в этих ботах и впрямь тепло и сухо.

КАНАТОХОДЕЦ. Значит, уже превратила!

РИХАРД. Ты сам говорил недавно, что я старикашка.

КАНАТОХОДЕЦ. Это я для того, чтобы ты перестал мечтать о Юдит.

РИХАРД. Напрасно! Я люблю Юдит бескорыстной стариковской любовью, похожей на последние лучи заходящего солнца, которое светит, да не греет. Когда гаснут последние лучи солнца, наступает непроглядная ночь.

КАНАТОХОДЕЦ. Как красиво сказано! Простите, господин, не вы ли случайно великий поэт Рихард Вагнер?

РИХАРД. Хватит паясничать! Я увел тебя из дому не для того, чтобы обсуждать мои отношения с Юдит.

КАНАТОХОДЕЦ. А для чего?

РИХАРД. Я хотел напомнить тебе, как я заманил Мишеля в ловушку. Впрочем, ты прав. Зачем расковыривать старые раны?

КАНАТОХОДЕЦ. Нет, нет, их нужно расковыривать. Для обретения душевного покоя. Ты уже этого не узнаешь, но так советует один старый венский еврей.

РИХАРД. С какой стати я должен следовать советам какого-то старого венского еврея?

КАНАТОХОДЕЦ. Потому что весь мир следует его советам. Так что, давай, выкладывай свой секрет!

РИХАРД. Ты, конечно, помнишь, как проклятый зять потребовал, чтобы я уговорил Мишеля приехать в Хемниц. *(Рыдает.)* Чтобы Я! Я! Я! выдал ему моего Зигфрида! Ты помнишь первый прогон "Сумерек богов", первую смерть Зигфрида на сцене? *(Музыка из "Сумерек богов".)* Первого июля прошлого года, точно в день смерти Мишеля!

КАНАТОХОДЕЦ. Поковырял рану? Двигай дальше!

РИХАРД. Ты помнишь, что зять отправил меня обратно в Дрезден? По дороге я встретил временное правительство в полном составе – они удирали от прусской армии в городок Фрайберг. И тогда я... Нет, нет, даже тебе я не могу это рассказать!

КАНАТОХОДЕЦ. Давай-давай! Все равно ведь расскажешь!

РИХАРД. Я отозвал Мишеля в сторону.

Появляется Мишель.

МИШЕЛЬ. Откуда ты взялся? Куда ты пропал?

РИХАРД. Я отвозил Минну в Хемниц.

МИШЕЛЬ *(не верит)*. Отвозил Минну? В такой момент!

РИХАРД. Не мог же я оставить ее здесь? На растерзание пруссакам?

МИШЕЛЬ. Ладно, дело твое. Но что ты сейчас делаешь здесь?

РИХАРД. Я хочу сообщить вам, что рабочие Хемница ждут вас...

КАНАТОХОДЕЦ. Так-таки ждут? А зачем?

РИХАРД. Ясно, зачем – чтобы поддержать революцию!

КАНАТОХОДЕЦ. Они и вправду собирались ее поддержать?

РИХАРД. Конечно, нет! Я, Рихард Вагнер, соврал. Я – такая сука, такая сволочь, – выдумал, чтобы завлечь их в Хемниц!

МИШЕЛЬ. Ты уверен, что рабочие нас ждут?

РИХАРД. Конечно, уверен. Они вооружились и послали меня, чтобы вам сообщить.

МИШЕЛЬ. Ну и новость! Никак от них не ждал такого героизма.

РИХАРД. Так ждать вас в Хемнице?

МИШЕЛЬ. Я один не решаю. Да и все наши рассеяны по дорогам. Сбор назначен во Фрайберге. Я доберусь туда и посоветуюсь с ребятами.

РИХАРД. Ладно. Ты двигай во Фрайберг, а я вернусь в Хемниц и проверю, все ли там в порядке. *(Возвращается в кабинет зятя.)*

ЗЯТЬ. Ты зачем приехал? Твое место там, с твоими друзьями – ты должен убедить их, что они должны двигать свои войска в Хемниц.

РИХАРД. Но я не хочу с ними встречаться! Они могут догадаться, что я завлекаю их в ловушку.

ЗЯТЬ. Это твое дело вести себя так, чтобы они не догадались. Ты же у нас артист!

РИХАРД. Что мне оставалось? Только подчиниться. И я помчался во Фрайберг.

КАНАТОХОДЕЦ. А что ты записал в дневнике? *(Открывает дневник, читает.)* "Внезапно меня охватило страстное желание повидать своих друзей, которых я зачем-то покинул, и отправиться в Хемниц вместе с ними". Ну и лицемер!

РИХАРД. Но я и вправду хотел повидать Мишеля. Я чувствовал, что это наша последняя встреча.

КАНАТОХОДЕЦ. И что ты ему сказал?

РИХАРД. Нам не удалось поговорить. После долгих дебатов идти в Хемниц или нет, мы наконец остались с ним наедине. Я хотел его как-то предупредить об опасности.

Мишель и Рихард входят в гостиную и садятся на диван.

РИХАРД. Наконец-то мы остались одни. Я так много хотел сказать тебе, Мишель. *(Голова Мишеля склоняется набок, на плечо Рихарда, и он наваливается на него всей своей непомерной тяжестью.)* Ты знаешь, что издан указ о нашем аресте? *(Мишель не отвечает.)* Что ты молчишь? Или тебя это не пугает? *(Мишель громко храпит.)* Ты что, спишь? В такой момент? *(Рихард пробует встряхнуть Мишеля.)* Проснись, Мишель, проснись, я должен сказать тебе что-то важное. *(Но он трясет Мишеля напрасно – сон того слишком глубок.)* Все эти месяцы я так жаждал физического контакта с Мишелем, жаждал его прикосновения к своей коже, предвкушая блаженство электрической искры, которая вспыхнет в моем теле от этого касания. Но я хотел нежной, человеческой ласки, а не этого – бездумного давления тяжелой головы Мишеля на мое плечо. И, возможно, если бы он не заснул, я бы все ему рассказал. Но момент был потерян. *(Рихард отводит ото лба Мишеля крутые темные кудри, легко-легко касается их губами, высокобуждает затекшее плечо и поднимается с дивана. Мишель безвольно скатывается на сиденье и храпит еще сильнее. Рихард выходит.)* Больше мы никогда не виделись.

КАНАТОХОДЕЦ. А в Хемнице?

РИХАРД. Что ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что их всех там арестовали!

КАНАТОХОДЕЦ. И тебя тоже?

РИХАРД. Нет, мне не удалось приехать в Хемниц вместе с ними. Я гнался за ними, но застрял в дороге и потерял их из виду.

КАНАТОХОДЕЦ. Так-таки застрял?

РИХАРД. Ну да, можешь почитать в моем дневнике. На дороге была ужасная пробка.

КАНАТОХОДЕЦ. Значит, ты застрял в пробке?

РИХАРД. Я же сказал – я застрял в пробке!

КАНАТОХОДЕЦ. Так и написано в дневнике? Что ты застрял, а они нет? Что за пробка такая? Им удалось через нее проехать, а тебе нет?

РИХАРД. Что ты меня мучаешь? Ведь ты знаешь, что именно так написано в дневнике!

КАНАТОХОДЕЦ. Ох, попадешься ты со своим враньем, Рихард! Кто-нибудь прочтает внимательно и заметит!

РИХАРД. Какой ужас! Кто-нибудь наверняка заметит!

КАНАТОХОДЕЦ. И где же ты был, когда твой дорогой зять их арестовал?

РИХАРД. Нигде я не был! Я тогда еще не приехал в Хемниц!

КАНАТОХОДЕЦ. Ну да, ты ведь застрял в пробке!

РИХАРД. Что ты заладил, как попугай: застрял, застрял? Ты же знаешь, что застрял.

КАНАТОХОДЕЦ. Как ты думаешь, откуда я это знаю?

РИХАРД. Из моего дневника, да?

КАНАТОХОДЕЦ. Ты очень подробно об этом рассказал на трех страницах.

РИХАРД. *(листает дневник)*. Черт, и вправду рассказал.

КАНАТОХОДЕЦ. Теперь каждый, кто прочтет, может тебя заподозрить.

РИХАРД. А вырвать эти страницы нельзя?

КАНАТОХОДЕЦ. Нельзя. Помнишь, несколько лет назад Козима красиво переплела два десятка копий этих воспоминаний и разослала всем друзьям на хранение. Так что Боже упаси что-то переделывать – только внимание привлекать! А зачем тебе понадобилось так настаивать, что ты застрял в пробке?

РИХАРД. Я был очень озабочен тем, как бы не приехать в Хемниц до того, как зять арестует Мишеля и остальных. Мне нужно было не просто приехать намного позже их ареста, но и зарегист-

рировать этот поздний приезд в памяти свидетелей. Мне повезло, и я занял место в почтовой карете, которая по расписанию должна была немедленно отправиться в Хемниц.

КАНАТОХОДЕЦ. Да, да, я читал, как сразу на выезде вы попали в ужасный людской водоворот, потому что вся дорога была запружена революционной армией, которая тронулась в путь.

РИХАРД. Мимо под барабанный бой шел Вогтландский полк, причем барабанщик бил палочками не только по натянутой коже, но и по деревянной раме барабана. *(Слышен перестук барабанных палочек по деревянной раме барабана.)* Мучительный перестук палочек барабанщика напомнил мне перестук костей болтающихся на виселице скелетов, который Берлиоз воспроизвел в финале "Фантастической симфонии". И только когда все войска прошли, моя почтовая карета, наконец, тронулась в путь. Среди ночи я примчался в Хемниц. Вокруг было пусто и тихо. Я побоялся идти к зятю. Я снял комнату в отеле и тут же заснул, как убитый. А на рассвете поспешил туда...

Утро. Рихард, запыхавшись, вбегает в кабинет зятя.

ЗЯТЬ. А, явился! Где же ты валандался всю ночь?

РИХАРД. По дороге было столько задержек и приключений, что я прибыл в Хемниц поздно ночью и снял комнату в отеле.

ЗЯТЬ. Интересно, зачем тебе понадобилось ночевать в отеле, если до моего дома от городских ворот всего пятнадцать минут ходьбы?

РИХАРД. Понимаешь, я не решился будить вас среди ночи.

ЗЯТЬ. Так-таки не решился! А что твои жена и сестра всю ночь глаз не сомкнули от волнения, тебе и в голову не пришло?

РИХАРД. Я тоже волновался! Я вскочил с постели ни свет ни заря и поспешил сюда.

ЗЯТЬ. Уж не для того ли, чтобы спросить о судьбе твоих дружков?

РИХАРД. Конечно, для того, чтобы спросить...

ЗЯТЬ. Что ж ты не спрашиваешь?

РИХАРД. Где они? Что с ними?

ЗЯТЬ. А ты не догадываешься? Здешние гвардейцы силой заставили городскую стражу покинуть свои посты у ворот и заняли их места, готовые арестовать ваше дурацкое правительство сразу по прибытии в Хемниц.

РИХАРД. И что?

ЗЯТЬ. Что – что? И арестовали.

По сцене проходит огромный Мишель со связанными руками. Гвардейцы облепили его, как мухи. Слышен перестук барабанных палочек по деревянной раме барабана.

МИШЕЛЬ. А где Рихард? Кто-нибудь видел Рихарда?

ГОЛОСА. Никто его не видел. Он еще не приехал. Он застрял в пробке. Застрял в пробке? (Хохот.) Так-таки застрял? Застрял в пробке! (Проходят под перестук барабанных палочек.)

РИХАРД. Всех арестовали?

ЗЯТЬ. Всех, кроме тебя. Ты, говорят, застрял в пробке. Но это еще можно исправить.

РИХАРД. Зачем исправлять? Ты же обещал...

ЗЯТЬ (хохочет). А ты, наивный, так и поверил?

Достает из кармана кандалы и собирается надеть их на Рихарда. Врываются Минна и Клара и бросаются обнимать Рихарда.

МИННА и КЛАРА (плача, перебивают друг друга). Ты здесь? Ты жив? Ты на свободе? Тут ходят страшные слухи. Будто всех арестовали. И увезли в кандалах!

ЗЯТЬ (пытается спрятать кандалы в карман). Как видите, не всех. Бедняга Рихард застрял в пробке!

КЛАРА (замечает кандалы). Но ты же не собираешься надеть кандалы на моего брата? В моем доме! (Решительно забирает кандалы.) И не вздумай, ясно?

МИННА. Только тронь его, я выцарапаю тебе глаза!

ЗЯТЬ. Ладно, благодари своих баб – и в дорогу!

МИННА. В какую дорогу? Куда? Он ведь только-только вернулся.

ЗЯТЬ. Нужно увозить его немедленно, пока там, наверху, не хватились, что его нет среди арестованных!

Полицейская коляска едет по дорогам, на переднем сидении – зять, на заднем – скорчившись и прикрываясь плащом – Рихард. Наступает вечер. Появляется шлагбаум и пограничная будка.

ПОГРАНИЧНИК. Стой! Кто идет?

ЗЯТЬ. Помощник начальника полиции Хемница – по делам в Веймар.

ПОГРАНИЧНИК. Ты один? Я слышал, у вас там в Саксонии мятежи и бунты.

ЗЯТЬ. Один я, один. Мятежи в Дрездене, в королевской столице. А у нас, в Хемнице, тишь да благодать.

ПОГРАНИЧНИК (*открывает шлагбаум*). Ну, если один, так езжай с Богом.

ЗЯТЬ (*отъезжает от шлагбаума за угол, останавливает лошадей и открывает дверь коляски*). А теперь вали отсюда, шурин дорогой!

РИХАРД (*выползает из коляски*). Куда же я среди ночи?

ЗЯТЬ. А это уж не мое дело. Мое дело было до границы тебя доставить, за что скажи спасибо. А тут – иди куда хочешь. Или назад тебя захватить? Так это мы – с радостью. Там тебя ждут не дождутся.

РИХАРД (*бежит прочь*). Ладно, спасибо, поцелуй от меня Клару и Минну!

ЗЯТЬ (*разворачивается и отъезжает*). Уж я их поцелую, сучек! Так поцелую, что век не забудут!

РИХАРД. Ну, я и пошел, побрел пешочком, пока не добрался до Франца Листа...

КАНАТОХОДЕЦ. Ну вот видишь, и все обошлось!

РИХАРД. Ничего себе – обошлось! Шестнадцать лет я слонялся по Европе бездомный и неприютный, без крыши над головой и без гроша в кармане.

КАНАТОХОДЕЦ. Конечно, тебе было несладко, но Мишеля пришлось гораздо хуже. В январе 1850 года суд Саксонии приговорил его к смертной казни. Спустя полгода было объявлено королевское помилование: гильотина заменялась пожизненным заключением. И Мишеля передали в руки австрийского суда, который снова приговорил его к смертной казни.

Мрачный подвал в австрийской тюрьме. Мишель лежит на каменном полу, прикованный к стене длинной цепью, скованной с металлическим ошейником на его шее. Входит австрийский офицер.

ОФИЦЕР. Арестант Бакунин, встать! Выслушать приговор императорского суда. (*Мишель с трудом поднимается с пола, звеня цепью. Офицер читает.*) "Бывший русский офицер Мишель

Бакунин признан виновным в организации мятежа против его величества императора Австрии, за что императорский военный суд приговаривает его к смертной казни через отсечение головы.

КАНАТОХОДЕЦ. Но русский царь Николай, ненавидевший Мишеля лютой ненавистью, объявил, что русского дворянина может наказывать только русский самодержец.

ОФИЦЕР (*продолжает*). Однако, идя навстречу пожеланиям его величества царя всея Руси, император Австрии милостиво соглашается вернуть вышеназванного Мишеля Бакунина его родной стране". (*Лицо Мишеля выражает ужас.*)

Мост на русско-австрийской границе. Австрийские жандармы пересекают мост, ведя с собой Мишеля в ножных кандалах. Их встречают два русских жандарма, которым австрийцы вручают узника. Прямо на мосту ему меняют австрийские кандалы на более тяжелые, русские. Мишель пересекает границу, волоча за собой тяжелую цепь.

РИХАРД. Господи, какой ужас! И что с ним там сделали?

КАНАТОХОДЕЦ. Его без суда посадили в одиночную камеру Алексеевского равелина Петропавловской крепости.

Мрачная камера. Мишель обследует камеру – потолок слишком низок, чтобы он мог выпрямиться, единственное окошко забито снаружи досками. Железный стол врыт в пол. Мишель берет со стола ложку и царапает на стене: М.Бакунин – 1850.

РИХАРД. Ах, эти годы ссылки! Там было всякое – и боль, и обида, и даже любовь! Но главное – музыка! Сколько музыки я за эти годы написал! И еще больше задумал.

КАНАТОХОДЕЦ. А Мишель все эти годы писал только на тюремной стене.

Мрачная тюремная камера. В камере Мишель стоит на полусогнутых ногах, упираясь руками о койку – потолок слишком низок, чтобы он мог выпрямиться, единственное окошко забито снаружи досками... На стене колонка надписей, процарапанных ложкой:

М.БАКУНИН, 1850

М.БАКУНИН, 1851

М.БАКУНИН, 1852

М.БАКУНИН, 1853

М.БАКУНИН, 1854

М.БАКУНИН, 1855.

КАНАТОХОДЕЦ. В 1855 году царь Николай отдал Богу душу.

Мрачная тюремная камера. Мишель лежит на койке, он оброс огромной бородой, нестриженные волосы свалились, глаза потухли, губы ввалились над беззубым ртом.

ТЮРЕМЩИК (приоткрывает дверь). Эй, Бакунин! (Мишель не поднимает голову, словно не слышит.) А по коридору погулять не хочешь? Взад-вперед, взад-вперед, а? Ты же раньше любил гулять. (Мишель не отвечает, безучастно глядя в потолок. Тюремщик почти заискивающе.) А что, если я принесу тебе бумагу и перо. Раньше ты любил писать петиции царю.

МИШЕЛЬ. На черта они мне сдались?

ТЮРЕМЩИК. А может, новый царь будет милостивей...

МИШЕЛЬ (с искрой интереса). Что еще за "новый царь"?

ТЮРЕМЩИК. Их Императорское Величество царь Александр Второй...

МИШЕЛЬ (внезапно вскакивает с койки, хватая тюремщика за плечи и начинает трясти). Ты хочешь сказать, что старый пес сдох? Неужто наконец сдох?

ТЮРЕМЩИК. Их Императорское Величество царь Николай представились вчера ночью.

МИШЕЛЬ (пляшет – настолько, насколько позволяет ему низкий потолок). Зверь поганый сдох, сдох! Пес вонючий сдох, сдох!

ТЮРЕМЩИК. Ты бы поосторожней, Бакунин! Все ж таки они были император всея Руси.

МИШЕЛЬ. Пес вонючий он был, а не император! (Поет.) Зверь поганый сдох, сдох! Пес вонючий сдох, сдох!

КАНАТОХОДЕЦ. А в 1857 новый император, Александр II, отправил Мишеля на поселение в Сибирь.

Камера в Петропавловской крепости. Мишель пластом лежит на койке. Он выглядит еще хуже, чем раньше. На стене добавилась еще две строки:

М.БАКУНИН, 1856

М.БАКУНИН, 1857.

Отодвигается глазок в двери, заглядывает тюремщик. Насмотревшись, отпирает дверь и входит, держа руки за спиной.

ТЮРЕМЩИК *(рявкает)*. Встать! *(Мишель продолжает лежать.)* Встать, кому говорят! Послание от его императорского величества царя Александра II. *(Показывает спрятанный за спиной белый конверт. Мишель с трудом поднимает голову и садится на койку, но тюремщик не спешит отдать ему конверт, он стоит, помахивая конвертом перед носом Мишеля.)* Может, сплывешь? Все ж таки послание от батюшки-царя! *(Мишель неожиданно приподнимается, ударяясь головой о низкий потолок, и выхватывает конверт. Тюремщик поспешно отступает и выходит из камеры. Мишель распечатывает конверт дрожащими пальцами и вынимает из конверта письмо.)*

МИШЕЛЬ *(медленно вчитывается в написанное, перечитывает и говорит в пространство)*. Интересный выбор! Чего я хочу – навсегда остаться в этой камере или навечно быть сосланным в Сибирь на поселение? Навечно – ха-ха-ха! *(Начинает, как безумный, колотить в дверь и кричать неожиданно вернувшимся к нему громовым голосом.)* Эй, стражник! Эй, кто там есть живой? Скажите царю, что я счастлив уехать на поселение в Сибирь навечно! Немедленно и навечно! Благословенная Сибирь!

КАНАТОХОДЕЦ. Царь думал, что Мишель уже человек конечный. И ошибся: Мишель лишь чуть-чуть очухался, как тут же сбежал – через Японию в Европу. И затеял там новый заговор для осуществления международной революции.

РИХАРД. Да, да... Помнишь, что он говорил?

МИШЕЛЬ. Нужно создать тайную сеть борцов за свободу. Такие маленькие группки, не знакомые друг с другом и повязанные общим кровавым преступлением. Они будут взрывать мосты, бросать бомбы, сбрасывать под откос поезда! И прольется невинная кровь! Кровь должна пролиться, когда рушатся миры.

КАНАТОХОДЕЦ. Он предсказывал, что через сто лет весь человеческий студень будет дрожать от страха перед кучкой героев, отважившихся на подвиг ради всеобщей свободы.

РИХАРД. Мишель всегда был верен себе. И где же он плел свою зловещую паутину?

КАНАТОХОДЕЦ. Он поселился в Швейцарии, в городке Лугано.

РИХАРД. В Лугано, на берегу Люцернского озера? Ведь там была моя вилла Трибсхен, которую подарил мне баварский король Людвиг. Он был тогда в меня влюблен.

КАНАТОХОДЕЦ. Что ж ты не сделал ни одной попытки встретиться со своим возлюбленным Зигфридом, если вы жили совсем рядом?

РИХАРД (*плачет*). Почему? Ты спрашиваешь, почему? Ты-то знаешь, что я не мог посмотреть ему в глаза! Но теперь это уже не важно. Мишель умер. А я – я допишу "Парсифаль" и тоже скоро умру. Слышишь, как неровно стучит мое старое сердце?

Могила Вагнера в парке в Байройте. Погребальное шествие. Козима, рыдая, идет за гробом. Канатоходец висит на ветке над могилой.

КАНАТОХОДЕЦ (*сквозь слезы*). У всякого события есть светлая сторона. Зато теперь дети не будут искать в моей могильной земле червей для своей черепахи.

ЭПИЛОГ

Могила Вагнера в парке в Байройте. У могилы стоит поставившая Козима, вся в черном. На ветке над ней под музыку из "Парсифаля" качается канатоходец.

КОЗИМА. Уже почти столетия прошло после смерти Рихарда, а все больше и больше людей стремятся попасть на наш фестиваль в Байройте.

Вдруг в могильный покой настойчиво врываются звуки другой музыки, она звучит все громче и громче. Это – "Хорст Вессель", который у нас в России всегда называли "Маршем авиаторов".

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА (*поют*).

Знамена ввысь! Ряды сплотить теснее!
Нам наплевать на происки врагов!
Ведь чтобы мир избавить от евреев,
На смертный бой любой из нас готов!

Группа молодых людей в форме штурмовиков врывается на поляну.

1-Й ГОЛОС. А вон жид, Рихард Гейер! Сидит на ветке!
2-Й ГОЛОС. Ишь где вздумал от нас спрятаться! На могиле
Рихарда Вагнера – любимого композитора нашего фюрера!

Штурмовики стаскивают канатоходца вниз.

КАНАТОХОДЕЦ (*отбивается и кричит*). Я не еврей! Я и есть
великий композитор Рихард Вагнер!

*Штурмовики со смехом тащат канатоходца к маячащей вдали
печи с высокой трубой. Над печью надпись: "Арбайт махт фрай".*

ШТУРМОВИКИ (*поют "Хорста Весселя", иногда сбиваясь на
"Марш авиаторов"*).

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц!

КАНАТОХОДЕЦ. А с чего вы так радуетесь, ребята? Ведь вас
давно уже нет в живых! Ваш любимый фюрер прикончил вас всех
до единого в ночь длинных ножей!

1-Й ГОЛОС. Пускай мы умерли, но наша идея победит!

Штурмовики бросают канатоходца в печь и поют:

Знамена ввысь! Ряды сплотить теснее!
Нам наплевать на происки врагов!

*Из дыма возникает огромная фигура Мишеля и затмевает
всех.*

МИШЕЛЬ. Нет, не ваша идея победит, а моя! Много крови дол-
жно пролиться, когда рушатся миры. Я вижу, как сбывается мое
предсказание, как весь человеческий студень дрожит от страха
перед кучкой отчаянных парней, готовых на смерть ради уничто-
жения вашего гнусного мелкотравчатого мира. Все выше, и выше,
и выше!

Марьян Беленький, Ирина Бузько

ПЛОСКОГУБЦЫ

Я лежал на диване и читал газету.
За окном пятого этажа неторопливо пролетали плоскогубцы.
Странно – осень, а они на север летят.
Вон оно как, оказывается, начинается...
Жаль, вроде все уже начало налаживаться.
Ну что ж, придется собираться.
Трусы, майки, полотенце брать, думаю, не надо – там дадут.
С другой стороны – сидишь себе на всем готовом,
питание три раза в день.
И никто мне не будет указывать,
что к смокингу и цилиндру не идут шорты
и сандалии на босу ногу.
При летающих плоскогубцах, наверно,
в закрытое отделение определяют.
Бо если сегодня у тебя плоскогубцы летают,
завтра ты от полка инопланетян будешь отбиваться.
Интересно, селедку матиас у них на обед дают?
Оказалось,
с дома напротив к нашему дому кабель протягивали.
По блоку проволоку натянули...
И кабельщик с крыши напротив, по этой проволоке
передает плоскогубцы кабельщику на нашей крыше...
Слава Богу! На этот раз пронесло.
Я оглянулся.
В кресле у телевизора в белом облачении сидел Лао Цзы.

Артур Фредекинд

WOCHENENDE MIT REGENSCHIRM*

...была пятница, пятница тогда была, это он точно помнил, когда потом пересказывал каким-то косым, вроде как обкуренным ангелам; отчитывался у красивой, улыбающейся турчанки, та бедрами крутила в коридоре да загадочно улыбалась; вспоминал в автобусе, едущем то ли в Париж, то ли во Львов, то ли наконец-то в Иерусалим; каялся перед бывшей женой, похожей на медсестру Рэттчет из утащенного-таки панкешей великого творения Формана, перед мамой, так и не вылезшей из ямы Шоа, она ненавидит-боится: себя, Израиль, длинные носы, кипы, ибо ее папа, и соответственно – его дед, снимал перед немцами штаны и выжил только благодаря тому, что пленные мусульмане называли его своим и тем спасли – мусульмане, которых он до той войны депортировал на Дальний Восток; потом еще он оправдывался перед папашей, помиравшим по пути в гастроном, в городе Кривой Рог, о котором выживший среди немецких конюхов польский еврей говаривал: "Тут женщин вперед не пропускают и руки не подают", папаша мучился сознанием немецкой вины, и тоже самоненависти, он лежал с авоськой, на ступеньках Дворца культуры (вечно закрытой громадины, там после крутили "Список Шиндлера", на задних рядах громко ржали, когда комендант стрелял в узников) и говорил кому-то по-немецки: "Ich verstehe kein russische Wort, Entschuldigung", но почему-то голосом того идиота из синагоги Вормса, который *так* говорил, с *такой* рожей и в *таком* костюме (чуть ли не с советскими колодками вместо медалей с профилем Сталина! впрочем, у папы тоже был костюмчик еще тот, брюки на попе блестели, на коленях брюк видны были зашитые им самим дырки – это он-то, сыночка, когда-то разрезал папе брюки ножницами, потому как выдержать его алкашистские скандалы стало

** Выходные с зонтиком (нем.).*

невмоготу), стоящие возле того медведя с человеческой мордой, иудеи, хотели скорую вызывать, но потом занялись своим делом, бубнить себе под нос, "мы ж в синагоге, надо молиться", а он успевал листать там забавную книжку "Секс в иудаизме"; а может быть, он кому-то рассказывал, как когда-то, в славной компании за бокалом вина, давным-давно, теперь уже ему приходилось деньги платить за то, чтобы его слушали. Буквально. Просто хотя бы час послушали. Пятница или не пятница – но хотя бы послушали. Ибо массы впадали в демократурию, они теперь командовали, а интеллектуалы вместо того, чтобы сказать "кыш, на место!" радостно аплодировали толпам ошалевших туристов, которые втаптывали в грязь последние островки культуры и водружали там пластмассовые пальмы, а бабье, чуя конец, быстренько примеряло на себя мусульманские платки и радостно хваталось за этих бедных дикарей, которые не вникали в никакие заумы, ничего не читали, ничего не знали и знать не хотели, но зато – не пили, не курили, работали, как волы, били баб, и делали с ними что хотели – то, что бабам и нравится. Разумеется, еще оставались женщины, но их становилось так же мало, как нормальных мужчин. "Выпьем за нормальных людей, их осталось мало" – такой был тост у одного нормального мужика, когда-то, который думал-думал, да и научился вести себя с бабами. Тем и жил. Жить-то надо, или..?

Пятница, точно пятница, конец недели, и хотя он ничего не делал целыми днями, кроме бытовой какой-то чепухи, но формально нужно было отмечать это самое окончание рабочей недели. Рабочей недели. Тут слишком многие нынче ни черта не делали, полезный труд в нынешней цивилизации мало где был нужен, и многие только изображали беготню, но отмечали приход выходных или любых праздников крайне бурно. Потому что у всех всю неделю были проблемы – то денег не заплатили, то цены поднялись, то чего-то поломалось, то нужно было новый комп поставить, то новое соединение, потому как все моментально устаревало, ломалось, взрывалось, расклеивалось, изобретали новые кремы и крема, шили новые платья, блузочки, штаны и подгузники, реклама орала на каждом углу, бабье и мужичье клевало на нее, словно рыба на блесну, капиталисты как никогда гнались за тем, чтобы все модернизировать, и люди влезали в долги, пахали, падали от усталости, выбывали из игры, вешались. Да и письма приходили, методично приходили письма, на которые нужно было отвечать, или реагировать, куда-то являться вовремя, как

заведенный, какого-то хера стоять там, говорить: "Очень рад", хотя совершенно не рад, говорить и молчать у дверей, у ворот, у окон, сидеть, ходить, одевать какие-то спецакидки, потом снимать, сдавать, открывать ворота, закрывать, пропускать полицейстов, людей не пропускать, свободного времени для того, чтобы подумать, не должно было быть среди недели, и все отчитывались, оправдывались, выкручивались, хотя вина их была только в том, что они хотели кушать да любить, ну еще спать в тепле, во имя этого *счастья* люди составляли таблицы, считали, врали, выкручивались, короче оправдывались в собственном существовании. Как у Кафки. Нынче даже стало хуже, ибо воткнуться куда-то без господомощи было просто невозможно, Замок прижал все, что шевелится, некоторые драпали в Америку, но куда было драпать ему, когда он еле ходил? Он мечтал когда-то жить в резервации с индейцами, пока были надежды на их восстание. Теперь надежд не было. В Америке уже все было под контролем, и если тебе закрывали счета, и контролировали мобильник, а желудок твой макдональдо-зависим, то куда ты денешься, куда ты на хер денешься?! Тем более когда тебя цивилизовали виски.

Он чуть-чуть работал, но не служил, не потому что болел, просто еще в молодости у него было мало сил, мало энергии, он должен был минимум три часа в день полежать на диване, почитать, подумать, а кому это понравится, кто ж это станет выдерживать? Его бабушка всегда орала на него: "Иди на улицу, чего сидишь как старик!" Тем паче он не просто сидел, а норовил шевелиться со своими ногами, руками, головой и книжками, прочитывающимися по две в час, а шевеление нарушало порядок – на диване стояли *три* подушки, стоять они должны были абсолютно ровно, две по краям, с вышитым на них фабричным способом тем каким-то неистребимо-серым русским лесом и медвежатами, а одна посередине – с танцующим испанцем – невероятно симметрично, как в матрице, или как на иконостасе, конечно, он их задевал, они падали, бабушка прибежала, поправляла, все должно было быть как в музее, с тех пор он ненавидел музеи, хотя ему пришлось там работать и удивляться недвижимым научным сотрудникам, умевшим сидеть на стульях с прямыми спинами, с открытыми глазами, посуточно. Они смотрели в стены, в экран, в окно, в глаза начальнику, все равно куда. Они думали. Конечно, те научные работники ничего не надумывали, ничего не читали, не писали, они просто служили, как музейные экспонаты... А в детстве он послушно шел на улицу, ибо бабушку он только раздражал,

там, на жаркой и пыльной улице, прятался во дворе в какой-нибудь сырой подвал, где лежали ржавые колеса (ему представлялось, что они были "военные", на самом деле их должно быть пару лет назад кто-то уволок с работы, не смог "толкнуть", да и бросил) и фантазировал. Сидел на камешке и фантазировал. О чем не скажу. О зонтиках. О зонтиках Оле-Лукойе. Или сидел на холодных и пыльных ступеньках с девочкой Эллой, с такими же печальными еврейскими глазами, как потом у одной немецкой панкерши. Элла кутала его в тончайший платок. Элла стала удивительно красивой, он невыносимо ее стеснялся, когда вырос, а в детстве им не давали войти в квартиры взрослых, там была какая-то странная семейная вражда, вообще, как вы уже, наверное, догадываетесь его семейка – это был сплошной пердимонкль. Элла теперь тоже пропадала где-то в Европе, вроде тоже в одиночку, какое-то проклятье висело над ними? И невозможно узнать какое, способность замалчивать правду люди развили до высшего пилотажа.

Потом, в молодости, он лежал и читал на другом конце того же города, и приходила со службы мама, потом папа, они начинали эту бодрую песню колонистов: "Что ты все лежишь? Иди погуляй, свежий воздух полезен!" И он понуро шел, гулял между шлакоблоков, общался с хулиганьем, курил в лопухах, самостоятельно играл в индейцев, потому что никто из друзей не поддерживал этих американских игр, а ему только хотелось домой, да читать, да говорить с родителями. Они не хотели с ним говорить. Слава Богу, что они хотели его хотя бы учить уму-разуму. Бывает и хуже.

Потом и вовсе – он начал учиться, работать, там его постоянно дергали, задавали вопросы и ждали не его ответа, а такого, какой им был нужен. А он никак не мог догадаться, какой именно ответ им нужен. И просто молчал. Поэтому его выгоняли и с учебы, и с работы. А всяких путаников оставляли – у него было много друзей "путаников", которые молили просто, что в голову придет, и это сходило с рук. Главное, что они знали, когда какой бабе подсунуть шоколадку, а когда и какую схватить за волосы. А он не знал. Вот в чем дело.

Сейчас было то же самое. Его дергали меньше, но дергали. Проблема была в другом – тут он очень мало читал. Ему надоело читать. Одновременно – он никогда не мечтал стать богатым или известным. И что он тогда тут делал, на этом требующем реализации Западе, или вообще в этой жизни, было совершенно непонятно. Изображал жизнедеятельность.

А проблемы, конечно, и у него были, как без проблем? Еще какие!

Во-первых, ему неожиданно предложила встретиться молоденькая, беленькая, очаровательная студентка, которая училась на соцработника и как бы на его асоциальном примере желала изучать положение низов. На его люмпенах. Он обожал люмпенов, всю жизнь вертелся в их среде. Папаша его был алкашом, с тех пор, видимо, и повелось. Наркоманы, бездомные, проститутки, какие-то сумасшедшие или полусумасшедшие, беднота. Как только ему попадался кто-то успешный, сытый, солидный, он внимательно присматривался к нему и вдруг понимал, что говорить им не о чем. Он мог только пробовать сосать с успешных деньги, но эти успешные были не такими уж простаками, они скорее у него высасывали и всячески старались поймать его на непрофессионализме, конечно, обращали внимание на его красный нос ("это у нас врожденное, сердечная болезнь" – так выкручивался его папашка, и он говорил то же самое, так сказать – продолжал дело, начатое предками, – чем он хуже Форда?), на то, что он чего-то не знал – и тогда он спал этих успешных куда подальше. Мол, козлы. Хотя они были не такими уж и козлами – им просто хотелось, чтобы он тоже чего-то навтирал, то, что всем надо, а у него не получалось. Он не знал чего надо. Чаще всего все-таки они были комсюками, особенно те, которые крутили дела на его родине – они бизнесменили точно на комсюзных связях. Местные, собственно тоже. У них была идеология комсюзного хип-хопа – устроиться как можно круче. Или хотя бы выглядеть круче. А тогда сидели при галстуках в конторках под портретом престарелого маразматика и организовывали выезды на природу для начальства. Сейчас – делали то же самое, здесь. Тут это называлось grillen. Стоять, вертеть сосиски, сумрачно смотреть на жирных баб, шипеть на толстых детей, сосать пиво, от которого его ментально тошнило, потом жрать. До пердежа. Потом пердеть в туалете. Потом ехать домой и шутить о пердеже...

Да, так студентка. Ей он был интересен. Она изучала депрессии. "Это болезнь", – научили ее всякие благоверные. Она повторяла. Но не очень доверяла – поэтому ему понравилась эта девушка. Более всего его тошнило, когда люди повторяли заученное, да еще приговаривали: "Так сказано в энциклопедии".

Она сделала все так, как будто пошла ему навстречу, сжалась, когда он уже опустил донельзя – типа одиночество заело, можно хоть расскажу о прошлом? Конечно, разговор был о дру-

гом – о католиках и православных, об Австралии, в которой она работала полгода и которая ей очень понравилась, разве что пили они там все много. Людям ведь необходимы трудности, а если их вообще нет, а в Австралии они не предвидятся, и целый день нужно все делать очень точно, то вечером необходимо отвязно расслабиться, чтобы отравить свой здоровый организм и довести себя до стресса.

Она, видимо, боялась алкашей – папка ее, наверное, попивал, все русские бухают, а русские бабы боятся алкашей, они их на-видались и считают, что от них родятся уроды – им так Гитлер когда-то ввернул. Он чаще встречал уродов в идеально здоровых семьях, уж во всяком случае – умственно отсталых.

Но она верила в Бога, что было приятно. Помнила о том, что он говорил ей когда-то по телефону – это тоже было сладко, хотя и опасно – ведь он каждый раз придумывал себе новый вариант биографии. Это делали многие эмигранты, что было невероятно забавно. Перманентный перформанс. Проверить ведь невозможно. Поэтому количество профессоров, а то и изучавших одновременно юриспруденцию и медицину, моющих полы в немецких туалетах, превышало даже завышенную официальную статистику выданных этими отсталыми странами дипломов. У него, кстати, не было диплома. Хотя он всем врал, что учился – на самом деле официально нигде он не учился, пробовал поступать, нашарил какую-то путаную заумь о Льве Толстом, препода были в шоке (работка была интересная, но идеи Толстого на его родине не интересовали образованцев, как и вообще любые идеи), и его не приняли. Теперь он брехал, что приняли, но (в зависимости от аудитории) – мол, торговал джинсами (один раз в жизни), носил не ту одежду (в школе, как только ему приказали переодеть пеструю рубашку, он тут же нацепил другую, синенькую), длинные волосы (мамаша выгоняла его из дому, если волосы ложились на воротник, а кормиться самостоятельно он был не способен), и эстетически не сходился с властью. Это, пожалуй, было правдой, ибо власть обещала народу жратву, grillen, а он не любил есть жирное – тошнило потом. Если это называть эстетическими проблемами...

Да, так пришел вечер пятницы – погода действовала на нервы, как в Европе летом, – вроде тепло, но вдруг резкий, холодный ветер, солнце, но вдруг тучи, из которых капало чем-то ледяным, они бродили вдоль речки, он разгонял зонтиком мелких мошек (этот зонтик потом очень ему пригодится, но о том не ведали ни он, ни зонтик, ни мошки, ни даже антиматерия, которая куда-то

исчезала, как духи из современного мира), изображал из себя крутого, чесал о Париже, Амстердаме, Израиле, она тоже чесала, собиралась в Бразилию, жаловалась на боль в ногах – она много и усердно бегала, шейка ее была беленькой, привлекательной (особенно для вампиров), прическу она сделала новую, под мальчика, грудь выделялась шлейкой сумки, повешенной между сисечками (мода, секси), но ступала она неуверенно, как многие русские. "Ну и ладно", – думал он и вспоминал о панкерше. Перед ним стояли три проблемы – прямо как дискуссия о "филиокве"...

Сидя на лавочке и рассуждая о чудесах, о старцах, об исцелениях и стигматах, а особенно об экзорцистах, он думал, во-первых: о панкерше, которая вроде лежала в дурдоме, а может быть, давно болталась возле моря в Португалии, а может быть, жила у Клауса, у Петера, еще у кого-то, тырила ихние деньги, курила ихние сигареты и смотрела из ихнего окна, депрессивно и загадочно, как всякая сумасшедшая. Он не смог изгнать из нее злых духов. Во-вторых: о том, что денег ему так и не прислали, за квартиру он не уплатил, красавица турчанка подло врала, мол, я не я и хата не моя, хотя все бумажки он заполнил вовремя и отдал вовремя, ему всюду мерещились антисемитские происки, у него в голове мерцала паранойя, потому что один из знакомых вернулся из Израиля и дико орал ночью возле киоска: "Жидовские морды рожи им, конечно, начистят, но люди, люди-то пострадают!" и было непонятно, кто пострадает, если евреям нужно было обязательно начистить "тем" рожи, пусть страдают, если виноваты, или пьяница имел ввиду, что всегда страдают некие безобидные, мимо проходящие бабушки и детки? Так не лажьте там, где взрослые играют в войну, вообще не рождайтесь или сдыхайте пораньше, пока еще не бомбят! Вот до чего он уже додумывался – это мы отметим мимоходом.

А у пьяницы получалось так, что те "они" были вовсе не люди, а кто? террористы? Он когда-то восхищался Савинковым и особенно Фанни Каплан (как жаль, что она не дострелила того очумевшего от зазнайства адвокатишку!), и перед глазами часто стояла сцена из "Забриски-пойнт", где очаровательная Хэлплин взглядом взрывает виллу, он бы полгорода тут взорвал, а там, на прошлой родине, может и почти все города, имел бы он подобный огненный взгляд! Да, а собутыльники просили, мол, не ори, не дома, они ж действительно стояли в небольшом немецком городе, улица была тихая, и немцы слышали этот ор: "жидовские морды, Израиль, арабы". Он еле убежал от этого соплеменника, кото-

рый на прилавке киоска показывал, как недалеко будет Тель-Авив "от этих чертей", обстановка в самом деле складывалась мерзко, примером, совсем недавно он заходил в гости к одному еврею, во дворе сидела компания здоровых арабов, берберов, пакистанцев или кого там (вот на турков они вроде не были похожи, хотя турки тоже, может быть, среди них были), да, так один здоровый так и прорычал: "Юден капут!", и он шагнул к нему, и достал мобильный из кармана (зачем? куда бы он стал звонить? или запустил бы в голову этому арабу легоньким мобильным?), и спросил: "Чего ты сказал, повтори-ка?", и здоровый, похожий на орангутана (но говорить так нельзя, а то, что он так написал, еще ему аукнется, все под контролем!), испугался немецкой полиции, и весь сник, и сказал: "Вам послышалось, мы ничего *такого* не говорили".

Биржу труда он тоже подозревал в антисемитизме, и это было вполне оправдано, ибо чиновник спрашивал его с подлой рожей: "Что б вы делали в Америке?" или говорил, когда он подписывал очередную подлую бумажку: "Не беспокойтесь, это не о депортации вас на родину". Тварь была еще та.

В-третьих: он не знал, что делать с этой русской девчонкой, глаза ее искрились чистотой и самоотверженностью, ручка была мягкой, он любил дотрагиваться до девичьих рук или плечей в разговоре, он знал, что им это очень приятно, да и ему тоже, он так привлекал их к себе, делал друзьями, даже влюблял – можно и поцеловать ненароком в плечико, увидеть внимательный и долгий взгляд, в котором у девчонок смешивалось многое – и желание любви, и чистота, и разврат, и любопытство, а потом можно было оттолкнуть от себя, потребовать чего-то уж слишком, или наговорить гадостей, наговорить о панкерше, вспомнить ее шрам на ноге, возле колена, которого она стеснялась и который он советовал покрыть татуировкой в виде ползущей гусеницы, а потом поцеловал, второй раз поцеловал и панкерша внимательно и серьезно на него посмотрела, да, так рассказать об этом, чтобы русская девчушка покрылась красными пятнами (а она их очень стесняется), и поцеловать вдруг подобное пятнышко! "Ну, вы да-ете!" – вскрикнула бы она, и проходящая мимо собачка вспрыгнула на парапет, птица вылетела молнией из колючего куста, утка приземлилась на воду, стало тихо. Потом закапал дождь, на Мозель закапал дождь, а у него перед глазами сияла маленькая ручка, с чистенькими пальчиками студентки, и рука панкерши, серая, неухоженная, с желтыми от табака пальцами, но с такими музыкальными, такими длинными, аристократическими пальцами,

что даже он позавидовал. "Мне нужно домой!" – выкрикнула студентка нервно. Дом – это отдельная комната, с общей кухней, туалетом, с какими-то студентами, которым ничего не нужно, кроме спорта, пива, группы Nirwana, они ее достигнут, когда папы прикупят им "мерседес", те студенты, может быть, трахают ее там по очереди, или все вместе, такие вещи часто нравятся приличным девушкам, и вот эти его грязные мысли опять пошли сплошным, канализационным потоком, он не мог их остановить, становилось противно от себя самого, потому он побрел к киоску, где купил крохотную бутылочку ликерчика (когда-то он раскусил внешнюю красоту этой несчастной, проклятой в XX веке Богом, страны, именно по этим всюду валяющимся маленьким бутылочкам) и где слушал спивающегося еврея, который орал "жидовские морды им покажут!" Второй собутыльник был татарин, лысый, крепкий, он выпросил у хозяина киоска бутылку пива, и хозяин дал, зная, что денег татарин не отдаст. Черт знает почему люди сейчас постоянно делали то, чего не хотели. Хозяин тоже был чуть-чуть еврей, если можно так сказать. Да, так люди постоянно делали то, чего не хотели делать. Татарин согласно кивал, но быстро ушел и дома наверняка рассказывал о "жидовских истериках". Особенно если его жена торчала тут "по еврейской линии".

Он не знал, что будет дальше. С одной стороны – студентка очень нравилась ему, не только юностью и красотой, но и какой-то уверенностью, каким-то смелым желанием спорить с ним, явным умом, интересом к миру, увлеченностью, с другой стороны, она вдруг сказала: "Я не хочу быть очередной", и он удивился, неужели она поверила в его выдуманные, постоянные победы, а кроме того – что ж, она хочет жениться на нем, и выносить его нудоту, его старость, его пьянство, его перемены настроений, его вечное желание лежать, фантазировать, читать, или бесцельно бродить по городам и весям?

Он поплелся домой, ибо ор пьяного еврея стал уже невыносим, дома неожиданно по телеку транслировали концерт Depeche Mode (он чуть не заплакал от мыслей о панкерше, она обожала Depeche Mode, он и дал ей цэдэшки*, они были не его, и, конечно, она вместе с ними и заваялась, она слушала Depeche Mode днем и ночью, чем стала его раздражать, – как же можно говорить или гулять с человеком, у которого в ушах наушники и который покачивается от Depeche Mode), концерт был классным,

* Цэдэшки – CD (нем.).

"Personal Jesus" и вообще срывал крышу, ему не сиделось дома после встречи со странной русской студенткой, панкерша стояла у него перед глазами, ее всегда пересохшие и горькие губы с пирсингом на нижней губе, от которого член его вставал моментально, ее огромные, траурные глаза с сумасшедшинкой, которые она почти не закрывала, он почему-то всегда видел ее именно с открытыми глазами, когда он просыпался, она тут же тоже открывала глаза и улыбалась, милая панкерша, улыбалась глазами Девы Марии, вот в чем дело! Они говорили с русской о культе Девы Марии у католиков, он вспомнил древнюю церковь, расписанную Врубелем, недалеко от Бабьего Яра, "где памятника так и нет", да, так древняя, поразительно печальная церковь, где на иконе и сидела эта панкерша, с младенцем на руках и с глазами, полными еврейской боли, — ее как будто изнасиловали, ту врубелевскую Марию — может, и в самом деле? Ведь Иосиф был довольно стар для нее — отличный прикоп для русской, да и для панкерши, которая вечно комплексовала по поводу его возраста — а вот Мария не комплексовала, хотя, возможно, Врубель и пытался показать эту боль девственницы, живущей со стариком-плотником и носящую в чреве неизвестно кого — зачатого во сне, может, от демонов? Иудеи недаром побаиваются этого странного мессии, принесшего на землю только меч, войны и разделение, кстати, Врубель изобразил тех последователей Иешуа с чистыми, белыми страницами нового Евангелия, мол, еще не все написано, еще не все сказано, были бы люди людьми, они бы показывали те чистые, открытые книги круглосуточно по CNN, но люди только изображали из себя людей, как, кстати, верующие изображали из себя верующих... Да, так после концерта он не мог торчать дома, словно ржавый гвоздь в пятке, а пятница орала молодежью на улицах, он ринулся в центр города, думал рвануть в публичный дом, но хорошие уже были закрыты, а там, где была итальянка, похожая на арабку, там было и дорого, и мерзко. Там за стойкой стояла корова с синяками на крупных ногах и требовательно говорила: "Ну, ты выбрал бэби? Решайся, приятель!" — это у немцев называлось вестернизацией, эти болезненные изгибы при разговоре, эти бесконечные и часто беспричинные "о-кей", эти почесывания, эти "вау!", эта скорость передвижения, приводившая к падению бьющихся предметов. Самое смешное — американцы ведь ничего этого ни от кого не требовали, наоборот, они просили их думать самостоятельно, а вообще не жевать жвачку и не заглядывать в рот нью-йоркским докерам, перенимая их ак-

цент, поведение, замашки. Немцы остаются немцами, дирижер махнул палочкой, они и замаршировали в такт. Хотя не только немцы. Точно так же украинцы когда-то прикладывали колхозные лапы к сердцу при исполнении гимна – подглядели где-то в телике. Да, так он испуганно смотрел на огромную лошадь-блондинку, переминавшуюся на своих копытах, в узком коридоре Puff'a*, на ту корову, на еще одну акулу, с плечами атлета, и тут увидел тонкую итальянку, столь напомнившую ему арабку, красавицу-арабку-ведьму из Карфагена, она стыдилась собственных глаз, ибо знала, как они прекрасны, и потому всегда отводила глаза в сторону, люди думали – врет, а она никогда не врала, она не хотела пользоваться своей красотой, и не врала ни тогда, когда признавалась в колдовстве, ни тогда, когда рассказывала о родстве с любовницей Августа, ни тогда, когда вставила в губку синий пирсинг, чтобы ему понравиться, ни тогда, когда звала его погулять возле школы, ей хотелось им похвалиться, а он стеснялся, старый дурак... Тем более не врала, когда они вместе смотрели на полную Луну, а в автобусе сидела некая кривая тетка из Москвы, которая его ждала, и арабка спросила: "Ты что, будешь с ней спать?!" – и расхохоталась, показывая белые молодые зубы, алый язык и крепкую шею, которую хотелось сдавить изо всех сил и долго не выпускать, может быть уже никогда не выпускать, как ручку зонтика...

В комнате был несвежий умывальник, широкая кровать, какие-то дурацкие предметы красного цвета, которые пилили на себя всякие психопаты, она была в туфлях на огромных каблуках ("мало того что нужно трахаться с невозможными чертями, еще и ходи на этих подборах!"), в ажурных чулках – все было невыносимо пошло, будто бы в Санкт-Петербурге начала прошлого века, когда некий поэт целовал руки тем несчастным проституткам, и за это его ненавидело "приличное" общество, а бездарная его жена трахалась с такой же бездарностью, изображая из себя Прекрасную Даму, как любовник изображал из себя поэта, но очень уж тщательно считал бабки. Следует отметить в ее пользу: "юбкой улицу мела", это она приписала, ай да жонка! понимала! Итальянка поцеловала его на прощанье, что бывает редко в этих местах, и очень просила приходить, мол, мы тогда устроим с тобой нечто повеселее, тоненькая итальянка, явно на коксе, "а где ты работаешь?" – спросила она с надеждой, что он заберет ее из этого дурдома, но где он может работать?! Смотрителем моря или неба?

* *Puff* – публичный дом (нем.).

Он прошелся взад-вперед по центру, уже что-то предчувствуя. Заглянул в кнайпу, где когда-то работала школьница Штеффи, предложившая ему сигарету и многообещающе показав глубокое декольте. Он поглядывал на Штеффи, улыбался и пил виски. Она поглядывала на него. Улыбалась и пила сок. У него в стакане быстро остался один противный лед, она слишком много сыпанула льда в виски, по подлой немецкой манере. Или для того, чтобы он не слишком опьянел. Впрочем, в баре "Льдинка", в котором он когда-то часто сидел, наезжая в совдеповский уни, и, конечно, вместо того тошнотворного уни, шел в "Льдинку", благо через дорогу, да, там, в "Льдинке" тоже сыпали груды льда, ко всему еще не в виски, а в бурду, называемую коктейлем. Штэффи пошла в туалет по крутой, узкой лесенке, в подвал, а он, не обращая внимания на публику в баре, тут же поплелся за ней. Буквально поплелся, он не любил бодрые походняки деловых ни здесь, ни там. Как-то автоматически поплелся, они ведь разговаривали, и разговор остался неоконченным. Внизу они сразу стали стремительно и даже больно целоваться, прямо возле автомата с презервативами. Конечно, целоваться она не умела (его вообще поражало, после хипповской молодости, насколько немки поздно взрослели, и даже целоваться не учились), но делала это пылко. Она оттолкнула его, когда он стал втискивать ее в кабинку с унитазами: "Сумасшедший, сумасшедший иностранец!" – и он поспешил ретироваться и даже панически бежал из кнайпы, юноши еще заржали вслед, а может быть, и не над ним? Кто знает. Он потом чуть не уписался. Пока нашел какой-то темный угол, пока сумел достать вставшую ялду, пока это все получилось, старость не радость... Он понимал, что плохо кончит. Он боялся немецкой тюрьмы. Хотя – чего такого? Наверняка лучше русской или турецкой. Чисто, спокойно...

Сейчас в этой кнайпе стоял за стойкой какой-то мускулистый болван. Он развернулся и пошел в сторону ирландского паба, и тут, проходя мимо африканской кнайпы, подумал о том, что никогда не был в этом кусочке Африки, зашел, увидел ее, неуклюжую, странную, в красной кофте с блесками, явного проститутного вида, но именно вида, а не сути, она ему улыбнулась, он улыбнулся ей, и дело завертелось. Рядом с ней сидел какой-то лысый старичок, она оставила его, прошла в туалет, быстро глянула ему в глаза. Он тоже смотрел в глаза, а вовсе не на ее сиськи, не на ее огромную попу, не на ее толстые ноги. Глаза – зеркало души. Хотя – вспоминая католиков – Августин утверждал, что у женщин нет

души, наверное, его возлюбленная ливийка очень уж его измучила, своими претензиями. Почему бабы всегда чего-то требуют, почему они не могут жить спокойно? Когда она вернулась, через пару минут старичок понуро побрел вон из кнайпы. Она позвала другого, явно богатого, а он допил коньяк, выслушал приговор, достал убывающие деньги. Заплатил. И вдруг она позвала его тоже. "Ты же человек, что ты сидишь один?!" Это был принцип диких людей, так же говаривали на его родине, а тут это никому и в голову не приходило, даже подумать. У немцев не было души, у ихних баб точно (кроме панкерши, но она была травмированной психбольной), именно поэтому они когда-то убивали евреев, а теперь продавали газ, которым травили курдов или арабов. Он их знал, немцев. Его папаша был из них.

Музыка струилась Африкой, не самой суперской, но достаточно теплой. А тепла очень не хватает в Германии. Она пожала его руку (имя он тут же забыл, так же бывало и на родине в прошлом), погладила по щеке, сказала: "Ты такой сладкий, добрый, улыбаешься хорошо", они пританцовывали, она позволяла гладить свою попу тому старому немцу, которого она принялась "крутить". Немец заказывал и оплачивал им пиво. Потом бутылку шампанского. Она ни минуты не была спокойна. Он пытался слушать африканскую музыку, вспоминать об одной славной кенийке, думал о том, что он будет делать, если денег на счету не будет и во вторник (а их не будет), думал о панкерше, которую он оттолкнул, именно тогда, когда она бросилась к нему на шею: "Прости меня, прости мою глупость!", которую он фактически послал куда подальше, когда она буквально смиренно попросила: "А можно, я поживу у тебя?" Через пару минут после его паскудного молчания: "А может, мы вместе хотя бы Рождество встретим?" Он снова промолчал. Почему? Это знает только Бог. Правда – ни тогда, ни сейчас никаких объяснений ему и в голову не приходило. Кроме одного – он ее боялся. Он боялся любви. Он боялся людей. Он ждал от людей только плохого.

Африканка (она придумала, что приехала из Австралии, хотя у нее был явно французский акцент, – скорее всего Конго, там гибли миллионы, но об этом не говорили по ТВ, чтобы не расстраивать наш славный туристский мир, видимо, оружие текло туда тоннами из стран "высокой культуры") все толкала его, терлась об него, хватала его руку, целовала то в губы, то в щеки, гладила по щеке и говорила тихо: "Все будет классно, у тебя все будет классно, все, что ты захочешь...", немец в это время мял ей попу. По-

том пришли какие-то бледные немки, откровенно проститутского вида, с одной она принялась целоваться со смехом, а вторая вытянула и без того узкие губки и просипела: "Я не могла бы поцеловать женщину в губы", он спросил: "Почему?", она посмотрела на него с возмущенным недоумением. Блондинку звали Мария. Он спросил: "Не Магдалена?", она не поняла. Православные, кстати, больше чтят Магдалену, а вот католики, получается, обожают целок, выходит они более садисты, и более любят давить – тут и их колониальные войны, и нынешние рассуждения о всеобщей демократии и модернизации, а православные любят проституток, честных давалок, а не ужимки и прыжки.

Эк его понесло...

Они пили шампанское, но он не пил, он заказал вдруг воды, просто воды с лимоном, все посмотрели на него недоуменно, африканка и вовсе спросила: "Чего ты смотришь в сторону и молчишь, у тебя там подружка что ли?", нет, но там где-то было небо, а в Небе, может, и подружка? К тому же его часто смущали люди, которые рядом, они переставали ему нравится, он ведь эстет, слишком эстет, носик у африканки стал потный и когда она его целовала, он чувствовал влажность черного носика, черт бы побрал его чувствительность, он подумал, что нужно, наверное (кому нужно?!), потереться возле той блонды Марии, но африканка неожиданно просто притянула его на место возле себя. Она подмигивала ему, когда вновь заказывала выпить, и немец вновь платил. Немки пили дармовое шампанское, в голове уже достаточно шумело, тут подседа другая немка – довольно симпатичная и тем на немку не похожая. Они перебросились парой фраз с африканкой, немка сняла очки, а черная демонстративно, на его глазах стала целовать немку в губы, красиво целовать, жадно, немка просто очумела, как очумел и он, это было невероятно красиво – два женских языка, черная кожа африканки, ее большие розовые губы, и беленькая немка, с красными губами, языки вращались как змеи, мягко терлись друг об друга, как теплые члены во влагище, африканка дерзко потрогала грудь немки, затем просто залезла ей под кофточку, немка сидела не шелохнувшись, было видно, что еще чуть-чуть и она бы кончила, еще и с криками, африканка сказала: "Я доминант", грудным таким, душным голосом, он вспомнил, что видит это уже третий раз в жизни – так заводили его две девчушки в молодости, одна красивее другой, одна и вовсе разделась до купальника, и принялась целовать свою подругу, а он так сомлел, так застеснялся (особенно своих тогдашних больших

белых трусов, наверняка и грязных, которые давили ему грубой резинкой, под его тесными брючками, и маминых больших разговоров в детстве: "одного нашего родственника, у него тоже были красивые волосы, остановили две девушки, пригласили к себе и развратили, а сифилис кончается параличом, ты знаешь, сына?", он только сейчас, недавно стал понимать, сколь женщины могут ненавидеть своих детей, особенно мальчиков!), что предпочел сделать вид, что уснул. А потом и в самом деле задремал на диванчике. Одна из этих девушек была красавицей, она его любила, но его мама! У него не было сил спорить со своей мамой. Другой раз это делали две лесби, тоже, явно его провоцируя, но он, наслушавшись о женской честности и порядочности, предпочел уехать домой, и обе были обескуражены — что он за человек и чего он хочет? Если б кто-то знал! Вернее — он-то знал, он хотел нормального, настоящего, может быть идеального, а где его взять в нашем мире?

В кнайпе, конечно же, нарисовался муж этой симпатичной немки, в идиотской, пидарской, обтянутой футболке, на которой стояло нечто типа "Frisko 1968" и с активными, завистливыми глазами, рядом с мужем уже торчал его преданный друг, длинный и подлый, друг тут же принялся чего-то шипеть, таких всегда раздражает когда женщинам классно, африканка недолго думая, мазанула его по роже мокрой тряпкой, которой только что вытирала пролившееся шампанское. Это было сильно. Слишком сильно. Все замерло.

Немца аж качнуло. Его — уверенного в себе, с чемоданами денег, презервативов, пива, его, не кого-то там, а его — европейца, благородного, толерантного, щедрого, и не где-нибудь, в опасной Африке или в победившей Америке, а прямо на родине, где наша полиция, обученная депортациям?!

...А она, небрежно покачиваясь, пошла в туалет. Он понимал, что нужно валить, но было поздно. "Что она, эта блядь, с ума сошла совсем?!" — заорал немец прямо ему в ухо, было непонятно, при чем здесь, собственно, он. Нужно отметить толерантность немца, он ни словом не намекнул о цвете кожи. Какой праздник антисизма! Богатый сидел на своем месте, как ни в чем не бывало, — он ведь платил. И был немцем. К нему никто никаких претензий не имел. А он явно немцем не был. Немка принялась успокаивать друга, муж потащил ее на место, и больше он не видел ее серьезных, загадочных глаз, ищущих наслаждения во всем, где только возможно, — она наверняка в себя чего только не тыкала из секс-шопов, а то и кошачьи хвосты. Африканка вернулась, и немец вновь стал орать. Принялся орать и хозяин кнайпы, тре-

буя, чтобы они ушли. В чем были виноваты "они", было неясно. Старичок послушно встал и двинулся к выходу, однако африканка запротестовала. Он поддержал ее: "Какого черта, мы ведь извинились, разве мы не можем еще выпить? Даму ведь нужно уважать..." Молодой немец продолжал орать: "Она не дама, а блядь!" – и тогда она резко рванулась к нему, по звериному быстро и метко царапнула лицо, своими красивыми ногтями. Это было уж и вовсе. Даже старик принялся вытаскивать ее из кнайпы. Она упиралась и орала: "Белая сволочь! Нацист! Хочешь меня трахнуть! Меня никто не трахает!" – его всегда удивляла женская способность комплексовать из-за того, что их никто не любит, и одновременно – очень гордиться этим. А может-таки, негритянка была настоящей лесбиянкой, бывают же настоящие, не только от моды, рекламы и немецкой подлости. Он бросился к немцу и принял на себя его грудную клетку, уперся в нее своими двумя руками, а немец пер, брызгая слюной: "Куда это годится! Все видели, все! Полиция, звоните в полицию!" Немцы всегда были гнилыми, они умели воевать только с тупыми и трусливыми русскими, с веселыми французами да с еврейскими женщинами. Он пытался его сдерживать. Это было трудно, тем более что африканка принялась визжать, хозяин кнайпы орать, стала орать и его жена (тоже африканка, но уже обученная, обеленная), их вынесло из кнайпы под этот ор, а зонтик остался внутри. Помните, зонтик? Трость, но дешевый, черт его знает – где-то десятку евро, пожалуй, потянет, он не покупал ничего дорогого уже давно, он предпочитал пить хорошее пойло, чтобы не дуреть и не становиться алкашом, или тратиться на баб. Зачем ему, примером, галстуки – что он бизнесмен или комсук? Зачем ему дорогие рубашки или пиджаки – у него был пиджак, который он носил лет десять назад и с тех пор так и не одевал.

Да, так главное – зонтик остался висеть на барной стойке, его, может, кто-то и хотел украсть, но кнайпа была приличной, черных мужиков почти не было, а черные бабы не воруют зонтики, они знают, какой может быть скандал из-за подобной чепухи. Немцы за зонтик живьем сожрут. Они придумают на суде, что это был подарок от далекой тетушки или чуть ли не антиквар. Они рассчитывают этим поднять цену, которую им выплатят за этот сучий зонтик. И они добиваются своего, уж будьте покойны. Они потому так хорошо и живут, потому что они за деньги папу родного живьем закопают. Как они евреев раньше закапывали... Кстати – вполне серьезно, они ведь делали это за деньги, это была их работа, их Job, их служба. У идейных нацистов даже была установка – ни

в коем случае не испытывать к евреям ненависти, ненависть означала слабость, человеческие чувства по отношению к антирасе. Евреев нужно было выводить – вот как тараканов.

Да, так африканки не воруют зонтики, а вот черные мужики могут рискнуть, просто для интереса, если хозяин зонтика заметит, ему можно попробовать пригрозить, своими черными глазами, немцы уснут мгновенно, они ведь боятся черных. Как опять же, пардон за повторение – боялись и боятся евреев.

Короче – зонтик остался висеть, так же как остался недоговоренным разговор со студенткой, она вдруг побежала домой да еще и брякнула в конце уже упомянутое: "Я не хочу быть очередной..." Он чуть было не сказал: "Здрасьте". Еще одна напрашивалась ему в жены. Или он должен был брехать, что она невероятна? Вот панкерша была невероятна, потому он и наделал глупостей. Он испугался панкерши. Испугался настоящей любви. Сильной. Истошной. Панкерша так его ревновала, что в глазах ее появлялась адская тьма. И тоже боялась настоящей любви, хотя очень ее хотела. Она обижалась моментально, на что угодно, она была такая чувствительная, такая... Почти как он. А это было не "pass"*, как ее научили всякие дурные психологи. Почему не pass, если люди похожи как брат и сестра? Потому что это инцест? Значит, быть гомиками можно, бисексуалами – можно, трансвеститами можно, онанистами можно, а братьями и сестрами – нельзя? Он чувствовал ее невероятно, а она его. Они думали друг о друге целыми днями, они хотели помочь друг другу изо всех сил, и потому ошибались, обижались, расстраивались, прятались, притворялись, стеснялись и плакали потом, плакали. Им хотелось плакать. "Мы не должны жить хорошо, мы Massenmoerder", говорила она. "Чепуха, – отвечал он: Тутси или хуту не Massenmoerder? Кампучийцы не Massenmoerder? Сербь не Massenmoerder? А русские со своим бесконечным ГУЛАГом, они-то как? Рванем в Израиль, и все пройдет". Он вполне реально и как бы сказать – рельефно представлял ее и себя в Израиле – на них смотрели бы, на них бы оборачивались, услышав их немецкий и вовсе бы замирали, но у нее прошли бы депрессии от яркого солнца, от моря, от веселья и напряжения в автобусах, от белых домиков и камер, они вполне могли бы пристроиться в каком-то кибуце, им ведь много не надо, он не чуждался физической работы, она обожала детей, язык бы пригодился, там полно немецких евреев, да и рус-

* *Pass* от слова *passen* – проходить (нем.)

ских, он бы стал писать (ведь мечтал же он когда-то писать!). Но она хотела мучиться. Как ихний Христос. Ей нельзя было быть счастливой. Тем более она верила психологам, а те бесконечно и беспредельно ввали, ради бабла, им его платила больничная касса, втирали ей о всяких комплексах, которые нужно было бы холить и лелеять.

Психологам нынче верили, как когда-то священникам, панкерша особенно, ведь они вытягивали ее из жутких депресняков. То, что вместо тех препаратов, которыми они ее травили и вызывали тяжелый бред, она могла курить марихуану, пить вино и любить, и тогда не было бы никаких депресняков – этому она не верила. Нынче ведь борьба с курением и алкоголем – прямо как в Совдепе.

Короче – они двинулись в другую кнайпу, хотя все устали. Но африканка была неугомонной. В другой кнайпе нужно было платить за вход, там было полно гомиков и лесби, все орали, дымили, музыка гремела, это было невыносимо. Ему хотелось спать. С другой стороны – было очень соблазнительно еще побухать за счет "папы", а потом-таки трахнуть эту негритянку. Она ведь чуяла его. Она вдруг сказала: "Хочешь тут, в туалете, глупыш?" – "Что именно в туалете?" – и он подмигнул ей, глупыш так глупыш, так же называла его панкерша, чего такого? "Ах, надо еще выпить, папи!" – взвизгнула африканка. Немец продолжал быть спокоен, выдержан и продолжал платить. И пить. Как ни в чем не бывало. Было ему под семьдесят точно. А то и больше. Эдакий рыцарь. Так же упорно они стояли под Сталинградом, хотя идиоту было понятно, что им не победить Россию, да и на хера ее побеждать – курорты, что ли, потом строить в тех заснеженных степях?! Чем более цель бессмысленна, тем более немцы ее пытаются добиться. Впрочем, русские тоже. Поэтому они ненавидели евреев, у евреев ведь нет никаких невероятных целей – спокойно и хорошо жить, растить детей, ходить в маленькую синагогу, чего тут такого? Все вполне банально. Иметь свою маленькую страну. Он вспомнил нелепый миф – "Европа от Лондона до Владивостока", и поразился фанатизму этих людей. Так же как фанатизму русских всюду устроить свой коммунизм или "православный мир". Так же как фанатизму мусульман – держать баб всего мира под контролем. Они все переживали за весь мир, вместо того чтобы дать ладу хотя бы своей комнате. Он вспомнил, что тоже когда-то переживал за весь мир. И ему опять захотелось в Иерусалим.

А когда ему захотелось на холмы Иерусалима, он тут же вспомнил, что там редко бывают дожди, и пришла мысль о зонтике:

"Дерьмо! Я забыл свой зонтик!" – "Дерьмо, – подтвердила негритянка. – Забери его и возвращайся, обязательно возвращайся, не потеряйся, сладкий!" Он принялся выбираться из толпы, понимая, что уже не вернется. Нужно было идти домой спать, желудок начинал болеть, в горле першило от сигарет, в кнайпе было полно немцев и немок, они его не замечали. Или смотрели как на жертву. Как на предмет для опытов. Они на все так смотрели, своими техногенными глазами. И поэтому обожали тело, только тело, кушать, спортивничать, одеваться, сексовать... Они даже эмпатию изучали компьютером и находили какие-то нужные нервные центры, кормили те центры таблетками и все прочее. Как римляне когда-то. Они не видели антиматерии. Раньше он думал, что от сытости можно увидеть антиматерию, но теперь он знал, что это не так. Потому что антиматерия дышит, где хочет.

Он вывалил на улицу, стало тише и легче. Ночь явно кончалась, но тучи никуда не делись, небо было забито тучами, как его легкие сигаретным дымом. Та африканская кнайпа была в двух шагах, и так как он туго соображал, он принялся обдумывать, как он пройдет вначале туда, а потом двинет мимо публичного дома ("главное – туда не войти, денег очень мало, турчанка постоянно врет, во вторник их точно не пришлют, не будет чего и пожрать"), к мосту Балдуина, пойдет по мосту, там нужно будет повесить нос, глядеть под ноги, на заблеванный асфальт, чтобы победить искушение прыгнуть с этого дьявольского моста или улечься там спать, ведь если увидеть, как далеко нужно грести на другой берег Мозеля, то можно вообще никуда не пойти. А там еще потом спускаться с моста, а там еще проходить кнайпы пьяных турков, обиженных на весь мир за то, что они нарушили свои исламские законы, там, возможно, опять столкнуться с Сюзи. Спивающаяся немка Сюзи, вот она действительно когда-то жила в Калифорнии, а теперь спивалась в кнайпе "Луковица" (о, эти невыносимые немецкие названия!), она ему понравилась, лицо ее оставалось интересным, несмотря на годы питья и прочего, и они танцевали в этой самой "Луковице", что редко кто тут делает, да, оказалось, что она выше его на голову, если не на две, проблемой немки была именно высота и тяжеловесность кости, крестьянки, поэтому они вечно воевали с французами, которые были воздушными, а вовсе не за Эльзас, или там – за монархию. Сюзи было невыносимо жаль, но он ничего не мог поделать – она была слишком большая, а ко всему еще выпивала галлоны пива... Да, так потом еще долезть до своего дома, а там еще подняться на четвертый

этаж ("по-немецки – третий", – радостно подумал он, сокращая себе путь), а потом еще, возможно, придется дрочить, ибо на сон грядущий он щелкал телевизором, а там чего-то такое всегда крутят ночью, и он будет плохо засыпать, ну вот – короче, одни проблемы и неприятности... Он уже открывал дверь кнайпы, когда она задышала ему в спину потом и тем странным африканским запахом, который ненавидят расисты и который обожают нимфоманы. "Хе! Я тебя догнала, он мне опротивел, тот дедушка!" Они ввалились вместе, и хотя длинный немчик с мужем симпатичной немки отвалили, хозяин кнайпы был явно не рад. Он попытался открыть рот о зонтике, но она перебила: "А ну-ка, налейте нам пива!" Это была явная провокация, ясно, как день.

Хозяин тут же побежал к ним, его негритянка принялась визжать, зонтик висел, как ни в чем не бывало, и он шагнул к нему, только шагнул и протянул левую руку, он хорошо помнил, что именно левую, привычка к левизне осталась из детства, ему тогда было удобнее мяч футболить левой, больше вроде ничего, мамаша постоянно трепалась о его гениальности и о том, что он левша, хотя никогда настоящим левшой он не был, но именно сейчас удобнее ему было взять зонтик левой рукой, и он его взял, а хозяин уже был рядом и что-то орал, уже брызгая слюной, хозяин был похож на чиновника из Биржи, такой же плотненький, быстренький, здоровенький, спортивненький, тупенький. И неожиданно он въехал этому хозяину острием зонтика в лицо. Как копьем. Здорово въехал, потому что тот сразу притормозил, как-то зашатался, схватился за лицо и вдруг рухнул. "Не в бровь, а в глаз!" – с ужасом подумал он, ибо тут же вспомнил славную девчущку, с которой когда-то дружил в детстве, и бросал тупой ножичек в песок, она сидела невдалеке, и ей он неожиданно попал в лицо ножиком, лицо ее залило кровью. "Он меня зарезал!" – кричала она среди бела дня, тогда он был уверен, что выбил ей глаз, слава Богу, остался только маленький шрамик над бровью, но им запретили дружить, шок остался на всю жизнь, с тех пор он боялся женщин, да и вообще людей, как это тогда получилось с ножиком, он до сих пор не понимал. И вот... Он даже не заметил как, но негритянка вроде подхватила его под мышки и просто вынесла из кнайпы. Вместе с зонтиком. На улице они побежали (кстати, почему-то в сторону Puff'a), по дороге мелькнула лестница, ведущая к Мозелю, и они бросились туда, там, как обычно, пила молодежь. "Они сдадут", – подумал он, а она сказала и добавила: "Машина у тебя есть?" – "Конечно, нет", – ответил он. Они пробе-

жали арку, рванули к мосту Балдуина и быстро пошли по набережной, собственно говоря, неизвестно куда. Его трясло. Он вдруг подумал, что на зонтике кровь – и в самом деле принялся чего-то липкое оттирать салфетками от верхушки зонтика, хотя ничего красного видно не было. Африканка расхохоталась.

– Как ты ему врезал! Молодчина! Что ты там трешь, плевать! Пошли еще выпьем!

– Хватит, – резко сказал он. – Там наверняка полиция всюду шарит, если он лишился глаза, то наше дело плохо, дорогая.

– Ты меня сюда не мешай, – тут же грубо сказала негритянка, – я его зонтом не колола.

Он быстро глянул на нее, она спокойно встретила его взгляд.

– Хочешь, помогу? – спросила спокойно.

– Не знаю. Не знаю что делать, – ответил он, они увидели лавочку, уселись. Вряд ли полиция стала бы искать их на набережной, подумали оба.

– Они знают, где ты живешь?

– Конечно, сладкий. Но они не знают, где живешь ты.

– Пойдем ко мне? – предложил он.

– Куда это?

И тут он понял, что боится негритянку, не доверяет ей и боится, что она чего-то украдет у него, как он боялся панкершу, как он боялся всех в последнее время. Его трясло. Он по-настоящему понял, что влип серьезно. Утро и падающий хозяин кнайпы, с руками, как бы поддерживающими лицо или маску лица, настолько навалились на него, что он ощутил жуткую усталость. Голова его повисла, руками невозможно было шевельнуть.

– Ты сумасшедший. Что ты молчишь?

Африканка тоже явно устала, глаза ее уже не сверкали, светало, и теперь стало видно, что она далеко не молода, кожа ее морщиниста, а красная с блестками кофта и вовсе – гадка до необыкновения.

– Я пойду. Я давно собирался пойти. Извини. Нам лучше сейчас расстаться. Дай мне свой телефон.

Африканка поняла:

– Не дам. Кто ты такой? Дай ты мне свой или не доверяешь?

– Я никому не доверяю.

– Ну и не доверяй! Еще один белый идиот! Ты тоже немец?

Рыба!

Она встала и двинулась в сторону центра.

– Куда ты? Подожди! – пугаясь одиночества, сказал он.

– Чего ты хочешь? – лицо ее снова стало злым. – Чего вы все тут от меня хотите? Трахнуть? Не получится! Чего вы все людей боитесь?! Друг друга боитесь!

– Каких людей? Тебя, идиотки?! Разве не ты устроила скандал, а сейчас уходишь? Кому ты нужна тебя трахать? Между прочим, этот Ольгерд глаза лишился, только потому, что ты напилась и визжала в его кнайпе! Тряпкой в лицо гостю! Ногтями! Как зверь! И мне теперь что делать?!

Его вдруг пронзила злость на это хитрое бабье, которое всегда выкручивалось, он вспомнил свою подлую бывшую жену, которая ловко (а то и неловко, но тогда в ход шли слезы, "я инвалидка, я без папы росла, я болезненная", еще какие-то частности, не имевшие к ее подлости никакого отношения) выкручивала выгоды себе, делая всех вокруг виноватыми и плохими, вспомнил хитрую, развратную ее сестру, завистливую и похотливую до зубной боли, она лезла к нему изо всех сил, когда родная сестра лежала в больнице, он ее трахнул, а потом унизил по-мужски, его особенно возмутило, что та здоровая тварь, напялила халат его мамы, даже у него не спросив, конечно, виноватили во всем его, ведь именно он помнил десятки-сотни примеров бабья, которые вытягивали деньги из художников, писателей, из него самого, которые выли о своих болезнях, но жили долго, нудно, противно, отравляя и без того чертовски тяжелую жизнь окружающих, вспомнил лучшего друга, из которого дура жена выкручивала все нервы своим бесконечным стоном о лучшей жизни, потом она устраивала истерики, не пускала к нему дочерей, жила с каким-то простецким придурком, торговала ложками, расписывать которые ее, да и ее дружка, научил тот бывший муж, вспомнил "Антихрист" честного фон Триера и размахнулся зонтиком...

На этот раз он бахнул ее по башке пластмассовой ручкой, вовсе не сильно, хотя она успела присесть, он-таки попал, он заметил, как эта корова приседает. Она негромко взвыла, развернулась и быстренько побежала к мосту, смешно семеня, как часто делают негрityнки или толстухи. А он вдруг рванулся за ней, ему захотелось отомстить за всех мужиков этой бляди, которая легко бросила немца, поившего ее весь вечер, легко оскорбляла всех вокруг, легко поцеловала ту суку, почему у нее все получалось легко, и она ни за что не отвечала? Он вспомнил, как Штеффи говорила: "Желание женщины – закон!" Кто придумал этот кретинизм! Сейчас получит настоящий Закон!

Он догнал ее, когда она уже успела перебежать дорогу и, переваливаясь, как утка, поднималась по велосипедному, широко-

му проезду на мост. Он зацепил ее ногу этим своим славным зонтиком, зацепил изогнутой ручкой и сильно дернул. Конечно, она свалилась, сказались тяжесть всех ее сисек, ляжек, зада, да и выпила она немало. Человек нормальный бы не свалился. "Баба", – добавил он, она визжала и поднималась на руках, испуганно поглядывая в его сторону, а он уже целился, целил куда воткнуть острие зонтика, он уже действовал, как охотник в саванне, он приглядывался к ней, как к антилопе, или скорее – как к дикой кабанихе, он шваркнул ее руку ногой, конечно рука подломилась, она упала на бок, он уже забегал с другого боку, словно действительно был охотником, а она – диким животным, она перестала орать и уже по-человечески попросила: "Ты что? Перестань", это было опасно, злость могла пройти, а он хотел отомстить ей за все, тем более как-то восторженно понимал, что "больше-то не дадут! больше не повезет!", и когда она обратила свой молящий взор в его сторону и опять стала приподниматься на руках, да еще говорить чего-то, типа: "О-о-ох, тяжело..." – он резко сунул зонтик прямо ей в пасть и постарался сунуть как можно глубже и сильнее! Даже крутануть! Она тогда уже почти сидела на корточках и от такого неожиданного удара почему-то подалась вначале вперед, а потом, конечно, шатнулась назад, а он еще сильнее надавил зонтик, тот даже согнулся, из ее рта хлынула кровь, тогда он, чтобы не видеть крови, просто нажал на кнопку открытия ширмы, зонтик распахнулся, негрityнка свалилась на спину, он продолжал держаться за ручку зонтика, не давая ему вынуться из ее рта, и когда она упала, прыгнул ей на живот, обеими ногами, в каком-то бешеном восторге! Он-таки ее наказал, наказал, он доказал, что мужчина!

Он прыгал не долго. Он выдернул зонт из ее пасти, сложил его, все было в крови. Он стал думать как-то коротко и резко. Нужно было или выкинуть зонт – и это было бы самое правильное, или отмыть его в Мозеле и идти домой. Совсем рассвело. Было тихо, и, слава Богу, не проехала ни одна машина. Где-то наверху орали малолетки, но далеко. Он старался не смотреть на нее – он был уверен, что она жива ("они живучи, эти бабы, тем более черные!"), он сложил зонт и двинулся к реке. Тут увидел, что зонт прилично в крови, кровь капала, черт ее подери! Он понимал, что тоже может измазаться и тогда любая тварь увидит его с кровью – его найдут. А ведь могут и не найти. Очень просто могут не найти. Он легко может отпустить бороду – и кто его найдет? Был какой-то иностранец в африканской кнайпе, был да сплыл, вряд ли такой монстр, выбивший глаз хозяину и чуть ли не при-

шивший черную под мостом – станет обитать в нашем городке. А если и найдут? Смертной казни тут нет. Будет сидеть. Какая разница – сидеть ему одному дома целыми днями или сидеть в тюрьме – там даже веселее.

Он подошел к парпету и просто бросил зонтик в воду. Мозель весело понес эту дешевку, наделавшую столько шуму, к Рейну. "Может, даже и не найдут", – весело и устало подумал он и почапал домой, вроде бы даже слыша стоны негритянки под мостом. "Не сдохнет. А сдохнет – тише будет, спокойнее".

Самое интересное – что заснул он вполне спокойно, без всякой дробки. И спал глубоко и славно, ко всему еще и долго. Просто как младенец. Как человек, честно исполнивший свой долг.

Только зонтики-трости он уже больше не покупал. Пользовался маленькими. Удобнее и дешевле.

Практичнее.

**НИНА ВОРОНЕЛЬ
ВЫРВАЛА ИЗ ЦЕПКИХ ЛАП ЗАБВЕНИЯ**

**маленькую затрепанную книжечку
небывалой красоты.**

Называется она "Переполох",
авторы – Нина Воронель и Рената Муха,
художник Виктор Чижиков, год издания 1968,
издательство "Малыш", тираж – 200 тыс. экземпляров.

С тех пор прошло 42 года,
и от пресловутых 200 тыс. экземпляров остался один,
случайно найденный в пачке старых бумаг.

Хоть за эти годы художник Чижиков
превратился в одного из знаменитейших
иллюстраторов России,
даже у него эта книжечка не сохранилась.

Эта маленькая книжка переиздана как раритет,
как память о прошлом – для тех, кто помнит.

Цена книжки "ПЕРЕПОЛОХ" с пересылкой – 20 шек.

Для заказа чеки на имя Нины Воронель

посылать по адресу:

П.Я. 44050, Тель-Авив 61440.

Марьян Беленький

НЕФОРМАТ

Он не знает правды.
Они от него скрывают.
Надо пойти к нему и сказать все как есть.
И тогда все изменится.
Он издаст Указ об искоренении всего плохого
и о внедрении всего хорошего.
Отнимет у них и отдаст нам.
Даст людям все.
Понизит цены и повысит зарплаты.
Если бы он знал, как мы живем, он бы этого не допустил.
Он выступит по главному телеканалу с обращением к народу.
Скажет, что теперь все будет по-другому.
Хороших наградит, плохих накажет.
Уволит, посадит, расстреляет этих сволочей,
которые его обманывали.
Посадит воров и взяточников.
Давайте пойдем и скажем ему все.
Он ведь хочет, чтоб было лучше.
Правда?

Яков Шехтер

СТРАШНАЯ ШКОДА

Краткое предисловие

Если что и удивляет меня в процессе, именуемом литературой, то это несносная наивность писателя. Впрочем, поразмыслив хорошенько, можно обозначить свойство сие иным, более подобающим словом, а именно – наглость.

Действительно, какое основание есть у писателя предполагать, будто другой человек, условно именуемый читателем, оставит свои почтенные и хлопотные занятия по обеспечению многочисленных и не допускающих отлагательства потребностей плоти, семьи и социального статуса и примется изучать логические построения автора.

Наглость – черта, возможно, не совсем приятная в общечити, но весьма удобная для ее обладателя. Объективности ради и только ради нее одной необходимо признать, что наивность, или наглость писателя, не уступает аналогичному качеству его читающего собрата.

И в самом деле, какую такую новость разыскивает читатель на листах новой книги? Неужели он всерьез предполагает, будто в начале двадцать первого века сохранились хоть сколь-нибудь замухрышистая темка или подпунктик, о котором еще не успели сообщить в "новостях" и снять короткометражный фильм с полнометражными комментариями ведущих комментаторов? Каких откровений или изысков стиля он ожидает вкусить, пачкая пальцы о свеженапечатанные страницы? Литература уже написана, господа, увы, написана, и если кто еще не уловил конкретных границ этого странного утверждения, то состояние его души можно описать только в единицах чудовищной наивности, или наглости, на ваш собственный вкус.

По зрелом размышлении и посоветовавшись с представителями как той, так и противоположной стороны, я склонен предста-

вить литературу или, если угодно, процесс чтения в виде делового соглашения. Вполне в духе нашего меркантильного и переполненного судебными разбирательствами века, не так ли?

Первая сторона обязуется развлекать вторую, а вторая – не обращая внимания на слабые места и откровенные заимствования, воображать, будто имеет дело с оригинальным продуктом.

Скопище страниц, берущее свое начало сразу за листом, на который вы сейчас глядите, собрано и сформатировано в некотором соответствии с традиционными правилами этого соглашения. Некоторыми, но не более того, поскольку ради живости изложения я постараюсь разрушить привычную структуру договора, поменяв местами обязательства участников. Если читатель не станет мешать мне развлекаться по собственному вкусу и усмотрению, я, так и быть, согласен взять на себя многотрудные хлопоты по его воспитанию и заполнению пробелов образования.

Как автор, я вовсе не намерен утомлять вас рассуждениями о смысле жизни, целях литературы, истории философии, философии истории и прочей высокопарной чепухой. Не дай Б-г! Задача, которую взвалила на меня болезнь, именуемая страстью к сочинительству, выглядит куда проще. Я всего лишь расскажу вам несколько историй, случившихся с героями, иногда важных и значимых для повествования, а иногда и не очень. Все будет в натуральную величину, ну прямо как в жизни, которая, как вы сами уже успели заметить, вовсе не всегда состоит из увлекательных происшествий и роковых событий.

В роли сочинителя я постараюсь тихонечко сидеть под сценой, в суфлерской будке и лишь иногда осторожно подавать голос; не честолюбия ради и не претендуя на роль демиурга, а в силу обыкновенного еврейского любопытства. Сами посудите – видеть все изнутри, знать, чем кончится, и молчать! Помилуйте, что угодно, но только не это!

Сцену я предоставляю читателю, собственно, она уже перед вами, входите, чувствуйте себя не найденышем, из милости допущенным на барскую кухню, где высшие существа стряпают для еще более высших существ, а шеф-поваром. Засучите рукава, прикиньте колпак, – о-то-то начинаем варить кашу.

Впрочем, одну минутку. Мы, кажется, не обо всем договорились. Вернее, не договорились ни о чем.

Решайтесь: если вас не устраивают вышеперечисленные условия, – ищите себе другого автора, если же да – смело переворачивайте страницу.

Глава первая,
*педагогическая, полностью посвященная
проблемам литературы, истории, философии,
а также поискам смысла жизни*

Религию Гена ненавидел с детства. И дело тут не в особенностях воспитания или изначальной порочности души. Рос он бодрым пусей упитанного телосложения с плутоватыми глазками посреди необъятной физиономии. Родной город Делятин Гена покинул почти в бессознательном возрасте, и потому ссылки на атеистическое воспитание, благоприобретенное в России, нельзя считать состоятельными.

В Реховоте, куда кривая Исхода переместила семью зубного техника Тетельбойма, треть населения истово соблюдала строгие запреты еврейского закона, треть сочувствовала им на вербальном уровне, а оставшаяся треть относилась к первым двум с плохо скрываемым раздражением. В любом случае, ссылки на среду можно считать неуместными – среда к Гене была скорее дружественной, нежели враждебной.

Что же касается души... Темная это штука. Сколько книг о ней сложило любопытное человечество, сколько крови и чернил пролило, а суть предмета до сих пор неясна. И если уж кого обвинять в слепоте, непонимании детской души, так это непосредственного носителя идеи, а именно Гениного религиозного дедушку.

Наступления праздника весны и свободы, веселого праздника Песах Гена всегда ждал с трепетом неприязни и обиды. Свежие весенние ветры пробуждали повышенный аппетит, шуршание и стоны молодой листвы доводили его до полубезумия. Весной Гена всегда ел больше обычного: булки и колбаса, печенье и жареная рыба с легким потрескиванием всасывались в его организм, словно конфетные фантики в жерло пылесоса.

Под жестяные выкрики торговцев Гена бродил по реховотскому рынку, дурея от красок и запахов. Карманные деньги исчезали, будто накрытые шапкой-невидимкой, но язык и небо продолжали трепетать и требовать еще. И вот в самый разгар весенней оргии, посреди безумства гастрономии и бакалейного обжирательства, наступал пасхальный седер.

Нет, к самому обеду, то есть к чинному вкушению ломких листиков мацы вперемежку с фаршированной рыбой, бульоном и прочим традиционным изобилием у Гены претензий не существовало. Но подготовка, прелюдия, или, выражаясь языком возвышен-

ным, интродукция, повергала в трепет обильные килограммы его организма.

Ах, эта интродукция! Все в ней – смысл, тщета и жизнь человеческая. Даже счастье, столь часто взыскиваемое, но редко достигаемое состояние, по существу есть не само счастье, а его ожидание.

В отличие от прочих ед, пасхальный седер происходил, с Гениной точки зрения, чересчур замысловато. Сначала дед торжественно рассказывал сто раз слышанные байки про кровь, вшей, саранчу и прочую несъедобную гадость. История длинная, дед строгий и читает медленно, нараспев. Потом выпивали по бокалу сладкой наливки и, словно в насмешку, раскидывали на тарелки по маципусенькому – вот где настоящее зверство! – кусочку картошки. Аппетит уже распален, безжалостный, беспощадный зверь, как спартанский лисенок, терзает и треплет внутренности, а дед снова заводит свои нескончаемые "майсес" про Моисея и фараона.

Поначалу Гена пытался хитрить. Как бы ненароком он облокачивался на стол, прикрывая близстоящую тарелку, и незаметно подхватив кусочек снеди, потихоньку отправлял в рот. Незаметно и потихоньку с его, Гениной, точки зрения. Дед смотрел на эти проделки несколько иначе, и в результате столь откровенного несовпадения мнений традиционный текст Агады приобретал следующий характер:

– Рабами мы были у фараона в Египте, Гена не трогай мацу, но вывел нас Всевышний, рукою сильной, Гена, убери руки от рыбы, и дланью простертой, и оставь в покое хрен!

Возможно, старый ум дальше видит, но зато молодой быстрее крутится. Перед началом действия Гена принялся подвешивать под столом пакетик с печеньем и кусочками хлеба, обильно промазанными маслом. Посреди седера, пользуясь правом ребенка на нестандартные ходы, он изредка нырял под стол и, заглотив порцию, потихоньку растворял ее во рту, в яростной и кипящей слюне. Несколько лет все сходило наилучшим образом, пока посреди очередного нырка Гена не поднял глаза вверх и натолкнулся на взгляд деда.

Пакетик извлекли наружу, крошки хлеба посыпались прямо на мацу и фаршированную рыбу. Вы спрашиваете, что было дальше? Лучше не спрашивайте! Во всяком случае, уважения к религии от этого у Гены не прибавилось ни на йоту.

В глупой игре под названием "школа" Гена быстро отыскал зазоры и лазейки, превратившие процесс обучения в нескончае-

мый праздник горлодерства и ничегонеделания. Учителя пытались сопротивляться, но их рецидивы и поползновения Гена решительно пресекал еще в эмбриональном состоянии. Общих решений тут не существовало, в каждом случае приходилось проталкивать особую колею.

– Отстань, а то испорчу машину, – пригрозил Гена неугомонному физкультурнику.

Дурак не понял, пришлось сломать боковое зеркало и познать лакированную поверхность капота с зазубринами ключа. Ох, как он бегал, как искал управу, собирал доказательства! Фигвам – индейское жилище и два кило моченых табуреток. Через неделю поехал, как миленький, в гараж, и, выложив немалый чек за долевое участие, вернулся в класс тише самой тишейшей божьей коровки.

Математичка оказалось более упорной, но и к ней Гена подобрал ключик. На одной из перемен, когда ничего не подозревавшая учителька важно возвращалась из туалета, он разогнал, как следует и с воплем – "извините, пожалуйста!" – влетел головой прямо в середину только что опорожненного мочевого пузыря. Математичка ойкнула и, побледнев, рухнула на пол. Падая, она широко раскинула руки, как видно, пытаясь удержаться, и мазнула Гену ладонью по щеке. Большею удаче трудно было ожидать. Гена заверещал, словно соловей телефон, и повалился на пол рядом с училкой.

Математичка пришла в себя довольно быстро, а для Гены пришлось вызывать карету скорой помощи и под вой сирены и бешеное сверканье мигалок везти в травмпункт.

– Голова, – стонала несчастная жертва, прикрывая ладонью глаза, – о, моя голова!

Социальный работник появился у постели больного раньше врача. Вздыхая и ойкая, Гена поведал, как случайно, без всякой задумки мысли налетел на учительницу, а она обругала его нехорошим словом и ударом по щеке сбила на пол. Нехорошее слово Гена решительно отказался повторить, поскольку произнести такое вслух, да еще при взрослых, он просто не мог себе позволить.

По настоянию директора, примчавшегося в больницу с быстротой виноватого человека, пострадавшего обследовали на самой совершенной аппаратуре.

– Всем бы такое здоровье, – резюмировал врач, получив результаты экспресс-анализа.

Но Гена закатил глаза и, откинувшись на подушку, тихонько завыл:

– О, моя голова, моя бедная голова...
– Да ведь он врет! – не выдержала, наконец, математичка. – Он просто смеется над нами, подлый, безжалостный негодяй!

Она, конечно же, была права. Ну и что? Можно подумать, будто объективная правда или неправота способны хоть на йоту изменить существующий порядок вещей.

– Если родители напишут жалобу в министерство, – прошипел директор, отвернув голову от кровати, – вам придется получше узнать, как выглядят подлые и безжалостные негодяи.

Стоны и завывания внезапно прекратились. Приподнявшись на локте, Гена настороженно прислушивался.

– Где он?

Занавеска с треском раздвинулась, и в образовавшемся проеме возник не кто иной, как зубной техник Тетельбойм – отец пострадавшего. Его "русское" происхождение смог бы установить только великий сыщик, в совершенстве владеющий системой разгадывания мельчайших деталей. Процесс мимикири проистекал весьма успешно и зашел довольно далеко.

Выглядел Тетельбойм как типичный марокканский каблан-подрядчик из страшной "олимовской" сказки. Белая мятая футболка топорщилась, подпираемая изнутри густой шерстью, приспущенные штаны изящно открывали на одну треть вертикальную складку, завершающую спину. Брился он от подглазий до ключиц, еще ниже смогла бы продраться только газонокосилка. Волосатые избытки путались в массивной золотой цепи, способной выдержать вес не только медальона, но и хорошего сторожевого пса. Впрочем, медальоном тоже не следовало пренебрегать; в пересчете на зубы он смог бы украсить не одну пару челюстей.

Говорил Тетельбойм смачно: слова вылетали из его рта упругими толчками, словно рвота после крепкой выпивки. Сжимая в левой ладони неизменную пачку "Мальборо" вместе с зажигалкой, он небрежно покручивал на указательном пальце правой автомобильный брелок с эмблемой BMW.

Для незавидной роли отца пострадавшего ребенка Тетельбойм держался чересчур спокойно. Настолько спокойно, что посторонний наблюдатель мог заподозрить неладное – например, острую недостатку родительских чувств. К счастью, посторонних наблюдателей возле постели больного не оказалось, а непосредственным участникам было не до физиогномических наблюдений.

– Ну-у-у? – спросил отец.

Пафос дальнейшей сцены не укладывается в скромные рамки нашего повествования. Кто больше виноват: ближневосточная

жара или южный темперамент, свободные евреи в свободной стране или косность преподавательского состава, – поди разберись! Сетовать на способности рассказчика, право, ни к чему: пропуски в повествовании вызваны одной лишь заботой о душевном здоровье читателей. Сомневающимся в искренности последнего утверждения автор рекомендует приехать в Израиль, отдать свое чадо в школу и полной грудью насладиться опущенным пафосом.

Выяснив отношения с преподавательским персоналом, отец перевел усталый взгляд на Гену.

– Вставай и пошли домой.

Ать-два. Так прыгают тигры через огненное кольцо. Унизительно, противно, усы можно обжечь, но деваться-то некуда!

Гена обхватил отца за руку, социальная работница и директор замкнули праздничную колонну. Процессия медленно пересекла приемный покой и уже почти достигла двери, когда старшая медсестра подала голос.

– Минуточку, – возопила она на чистом иврите с невыносимыми для европейского слуха горловыми, носоглотными и желудочными звуками, – а документы кто оформлять будет?

Под документами она имела в виду обязательство об оплате. Мелочно, конечно, скредно и держимордно, а с другой стороны, что, кроме долговых обязательств, можно назвать документом?

– Я?! – изумился отец Гены. – И я ещё должен платить? Ну и порядки: сперва избивают ребенка до госпитализации, а потом требуют за это деньги! А полицию, расследование, суд – не хотите?

Он смерил онемевшую училку презрительным взглядом и медленно, как броненосец из гавани, покинул приемный покой. Гена мелким бесом шелестел в кильватере. Солнце садилось в зеленые волны, изумрудная пена играла за кормой...

– Кто вызывал "скорую"? – спросила медсестра, держа наготове авторучку. Капля чернил дрожала и переливалась на кончике золотого пера, будто капелька яда.

– Я, – с трудом выдавила из себя математичка, уже сообразившая, к чему идет дело.

– Вот вы и платите, – резюмировала сестра и опустила перо вниз. Было в этом жесте что-то величественно-римское, древнее, как бои гладиаторов, и справедливое, словно жалкая участь побежденного.

– Подписывайтесь, подписывайтесь, – успокоил директор, – школа вернет.

Школа, конечно, ничего не вернула, училка заплатила сполна за вызов, транспортировку и обследование плюс семнадцать про-

центов налога и с тех пор вела себя тише самой тишайшей мышки.

Несмотря на специфические отношения с преподавательским составом, учился Гена почти на "отлично". Знания входили в его голову легко и не сутулясь, там, где одноклассникам приходилось корпеть часами, ему хватало небрежного перелистывания страниц под неумолкаемое камлание рэпа. Читать по-русски Гена выучился шутя: одноклассник приволок в школу русскую книжку с картинками и с важным видом разбирал ее по складам на переменах. В просьбе дать посмотреть Гене было отказано:

– Все равно не поймешь, – презрительно фыркнул одноклассник, на всякий случай сжимая покрепче книгу.

Нет, вырывать ее из рук Гена не стал; его месть за оскорбление была утонченней и строже. Вечером он навалился на отца и заставил его объяснить русские буквы по сказкам Пушкина. Ошалевший от столь интеллектуального занятия Тетельбойм долго не мог понять, в чем закавыка, пока Гена не объяснил.

– Утри, утри ему нос, сынок, – напутствовал зубной техник отпрыска и, засучив виртуальные рукава, потратил на воспитание сына целых тридцать семь минут свободного времени.

То ли родительское благословение сыграло свою роль, то ли в Гениной голове скрывались необычные, ждущие своего срока силы, но читать по складам он начал тем же вечером.

Есть такое понятие – целевое бытие. Много проблем терзают человека, разные задачи решает он, пытаясь прыгнуть одновременно вперед, вверх и в сторону. Результаты от такого мельтешения получаются пшиковые, а усилия – паровозные.

И сказали мудрецы, разобравшиеся в сути тщеты человеческой: да оставит муж, взыскующий цельности, множество трудов своих под солнцем и займется одним из трудов, доведя его до конца, дабы, передохнув, заняться другим. И назовется занятие это целевым бытием, потому как лишь одну, но пламенную страсть исповедовать следует в каждую единицу времени.

Сам того не зная, Гена следовал советам мудрецов, и первым его увлечением стало чтение. Читал Гена много, но совершенно беспорядочно. Особенно способствовали тому громадные библиотеки бывших соотечественников. Уезжая из Советского Союза, они, как ненормальные, забивали контейнеры печатной продукцией, наивно полагая, будто там, на новой родине к Алексею Толстому станут относиться с прежним пиететом.

Очень скоро, всего за какие-нибудь десять-пятнадцать лет, выяснилось, что книжки эти не нужны ни хозяевам, ни их детям. Все тут было другим и по-другому, опыт и нравственные идеалы, проповедуемые в привезенных книгах, стушевывались до нуля после знакомства с мемуарами сбежавших на Запад советских деятелей разного масштаба и поля действия. Дети поголовно перешли на иврит и с плохо скрываемым презрением посматривали на тарабарщину, непонятно для чего привезенную из-за двух морей. В итоге громадное количество книг пропадало самым бесхозным образом. На этих-то пустынных и сочных лугах Гена выпасал табуны своего любопытства.

Все свободное от чтения время Гена проводил на улице. Как бы назло полному отсутствию постоянных занятий, он был занят с утра до вечера, катаясь по району, словно свежий, подрумяненный колобок. Забот хватало: тут подшутить, там подъезлосить, здесь поправить, туда передать. Набегавшись, он покупал в лавочке плитку молочного шоколада и съедал ее, урча и чавкая, еле успевая сдернуть трескучую серебряную шкурку.

"Счастливое детство", – скажете вы. И ошибетесь. С гораздо большим удовольствием Гена проглотил бы нормальный домашний обед, приготовленный заботливой рукой матери или, на худой конец, суровой – отца. Увы, этих невинных услад он был лишен практически начисто. Отец, зубной техник Тетельбойм, с самого утра и до глубокой ночи ворочал чужие челюсти в своем протезном кабинете. Деньги за это он взимал немалые, но какое дело до текущего родительского счета голодному одинокому ребенку!

Честно говоря, зубной техник Тетельбойм вовсе не являлся зубным техником. Истинным его призванием, а заодно и профессией был ремонт автомобилей. В Делятине призвание приносило солидный доход, настолько солидный, что деньги, зарабатываемые женой – педикюршей в салоне на улице Ленина – он оставлял ей "на конфеты". Софа была большой сладкоежкой; "на конфеты" улетала не только ее зарплата вместе с чаевыми, но и немалая часть доходов мужа. Впрочем, что теперь говорить об этом. Закатилось, уплыло золотое времечко, непорочные деньки девственной советской власти.

Вместе с открытием визы на постоянное место жительства открылась и новая страница в жизни семейства Тетельбойм. Лучшая ли, худшая – история все расставит на свои места. Мнения участников и персонажей ей мало интересны – у этой дамы свой ход мысли и свои критерии. Но все же, ради столь взыскуемой

нами объективности, необходимо заметить, что в Израиле, особенно поначалу, Тетельбойм страдал, и страдал по-настоящему.

Через две недели после прибытия, отдышавшись и распаковав чемоданы, Тетельбойм ринулся на поиски работы. Мест оказалось навалом – в промышленной зоне Реховота, словно насмехаясь над законами конкуренции, успешно сосуществовали десятки небольших гаражей и ремонтных мастерских. Рабочие руки требовались всем – правда, компенсация за их использование предлагалась весьма незначительная, примерно в размере тех сумм, которые Софа в Делятине распускала по кондитерским. Делать, однако, было нечего, и Тетельбойм, покрутив носом, впрягся в работу.

Вскоре выяснилось, насколько правы оказались политические обозреватели московского телевидения, живописуя в стихах и красках тяжелую долю пролетариата на Западе. Пахать приходилось от звонка до звонка, и не просто пахать, а с оттягом, поскольку хозяин, то есть работодатель, вкалывал у соседнего стапеля, и провести его одним из наработанных в делятинском автосервисе трюков было невозможно. Через месяц каторжного труда, сопоставив моральный ущерб с полученной суммой, Тетельбойм решил сменить профессию.

Простор перед ним открывался необозримый – надо было лишь выбрать, что посармачней и почище. Обследовав доски объявлений, поговорив со старожилами и наведавшись в несколько частных бюро по трудоустройству, Тетельбойм с легким сердцем заказал из родных краев диплом зубного техника. Не фальшивый – упаси Б-г, – а подлинный, на фирменном бланке, с подписями и печатями. Воистину – нет большей радости, чем избавление от сомнений!

Пока расторопные друзья и бывшие коллеги организовывали необходимые бумажки, Тетельбойм поступил в обучение к настоящему зубному технику, родом из Дрогобыча. Техник жил в Израиле уже лет двадцать, неплохо притерпелся к аборигенам и ваял протезы направо и налево, невзирая на условности налогообложения.

За науку он отгреб у Тетельбойма солидный кус, но кое-чему обучил. В частности, как в обход законов и правил устанавливать протезы самостоятельно, минуя зубных врачей. Брал он за это куда меньше, чем жирующие на людском горе грабители в белых халатах, и клиент пер косяком, оставляя в сетях шекели, блестящие, словно рыба чешуя. Когда подоспел диплом, бывший авторемонтник шуровал во рту у клиентов с той же расторопностью, с какой чистил карбюраторы в незабвенных "Жигулях".

Ах, "Жигули"! И что это была за машина, не автосредство, а золотое дно, неизбывный источник свежих, хрустящих дензнаков. И кто тебя выдумал, кто выпустил на дорогу, нескончаемый праздник, рог изобилия о четырех колесах!

Клиент пошел, сначала нехотя, с придыханием, а потом все шире и гуще, передавая телефон сказочно дешевого протезиста из уст в уста. Через год Тетельбойм перебрался в шикарный кабинет с предбанником и секретаршей. Секретаршу он делил с доктором неконвенциональной медицины, экстрасенсом Эдитой. В прошлом инженер-химик, не сумев устроиться по специальности, Эдита внезапно открыла в себе удивительные способности и потихоньку-полегоньку вышла на уровень владелицы кабинета с клиентурой.

Отношения между специалистами сложились самые что ни на есть дружеские. Свободное от клиентов время пролетало незаметно, Тетельбойм острил, рассказывал о своей прошлой жизни, делился хумусом, политическими новостями и прогнозами. Эдита внимательно слушала, чуть покачивая головой, легко пускалась в смех, откидывая назад крупную голову в мелких светло-желтых кудряшках. Тетельбойм стал задерживаться на работе все дольше и дольше.

Трудно сказать, что больше манило его – бесстыдно раздвинутые, гладкой белой кожи подлокотники кресел или горячечный, манящий свет врачебной лампы. А может, во всем виноваты часы – упругий, торопливый стук маятника, с обязательным звоном облегчения после получаса неустанных качаний. Кто знает...

Единственным оправданием столь буйным рецидивам рабочего энтузиазма в глазах Софы служили деньги. Их и вправду становилось больше, хотя в точном соответствии с банальными правилами житейской морали, счастья они не прибавляли ни на йоту. Но цель, цель была. Вырванные из клиентов башли уплывали прямиком на сберегательную программу.

– Пентхауз! – повторял жене Тетельбойм утром и вечером, ложась и вставая. – Нам нужен пентхауз.

Зачем ему понадобилась квартира на крыше, он бы вряд ли смог объяснить даже себе самому, но объяснений никто не требовал. Волшебное слово успокаивало жену, словно бочки с маслом – бушующее море. Ах, сколько глупостей и страданий причиняем мы своим ближним погоней за благой целью! Любые несчастья и невзгоды мы склонны оправдывать наличием этой неуловимой фата-морганы. Все возлагается на жертвенник – семья, налаженный быт, дружеские связи, любовь, работа. Возлагается и сгорает без следа, оставляя лишь горстку холодного пепла.

Сумма на программе потихоньку увеличивалась, незаметно превращаясь из скромного шампиньона, дремлющего в подполье, во всевластного господина. Очень скоро ей подчинилось все: от покупки одежды до молока и сметаны в продуктовой лавочке. Сама по себе она выглядела внушительно; каждый раз, получая отчет из банка, Тетельбойм невольно распрямлял плечи, согнутые от постоянных поклонов чужим зубам, но по сравнению со стоимостью пентхауза, она все еще оставалась малышом-первоклашкой, упитанным карапузом первого года обучения.

Софа, как могла, пыталась подтолкнуть тяжелое колесо судьбы в сторону желанной цели. Увы, женские силы подобны песне соловья – настолько же прекрасны, насколько коротки!

Прогуливаясь сразу после приезда по улицам Реховота, Софа повторяла:

– Будет, будет работа!

Еще бы, аборигенки сплошь и рядом шуровали в открытых сандалиях на босу ногу. Жаркий климат, грязные улицы плюс полное пренебрежение к правилам ношения обуви расстилали перед Софой практически необозримое поле деятельности.

Первое объявление о педикюрных услугах она повесила на второй день пребывания в Обетованной Земле. Через неделю пришли две старожилки, из "русских", и милостиво позволили обслужить свои зачуханные подошвы, попутно осыпая Софу дождем бесплатных советов. Заплатили они мало, половину цены, и больше не приходили.

Расспрашивая, вынюхивая и подсматривая, Софа довольно быстро поняла свою проблему – за ногами аборигенки предпочитали ухаживать сами, выбрасывая кучу денег на всякого рода патентованные средства, рекомендуемые ушлыми рекламодателями. В салон же они ходили, словно в клуб, поговорить и послушать. Ни Софьино общество, ни унылая обстановка ее репатриантской квартиры не располагали к повторному посещению. Выбор стоял недвусмысленный – или идти наниматься за копейки в те же салоны, или менять профессию. С первым из вариантов Софьиная гордость примириться никак не могла, следовательно, оставался второй.

По мнению некоторых философов, наш мир управляется по принципу: мера за меру. По мнению других, в его основе заложено куда более простое, но необычайно эффективное правило: бодливой корове Б-г рогов не дает. Истина лежит, наверное, где-нибудь посередине, на загадочном пересечении этих концепций. Но

в нашем случае правы оказались представители второй стороны и, в полном соответствии с их утверждением, Софа нашла работу в солидной фирме по продаже автомобильных запчастей.

Посадили ее на комплектующие моторов, и в течение нескольких месяцев Тетельбойм, наломавшись до боли в пояснице на основной работе, по вечерам объяснял жене принципы устройства двигателей внутреннего сгорания. То ли со страху, то ли по причине врожденных, но до сих пор не раскрытых технических способностей, Софа ухватила автомобильные премудрости с полупета. Через полгода хозяин случайно подслушал, как скромная комплектовщица объясняла нудному клиенту разницу между дизелем и обыкновенным мотором. Объяснение было настолько красочным и простым, что на следующий же день Софу перевели в отдел приема заказов.

Вот тут-то и началась настоящая жизнь! Во-первых, на работу Софа стала приходить одетая, как стюардесса международных линий. Короткая синяя юбка эффектно открывала ноги, а белая прозрачная кофта подчеркивала то, что хотелось подчеркнуть, и манила тем, что хотелось разглядеть подробней. Оформляя заказы, заказчики млели и, поблескивая зубами, растекались в сахарный сироп, белый-белый, с блестящими хрусткими крупинками.

А во-вторых, все эти гордые хозяйчики мелких мастерских, напыщенные каплуны, когда-то обижавшие Софыного мужа, оказались теперь в числе ее клиентов. О, какими галантными кавалерами они хотели выглядеть в глазах прекрасной блондинки! Как любезно выгибали волосатые торсы с приспущенными до полпопы штанами. Отключив мобильные телефоны – вот он, истинный критерий подлинной заинтересованности! – они обстоятельно и долго обсуждали качество, сроки поставки, цену и планы на ближайший вечер.

– Мои планы не подлежат изменению, – повторяла Софа особенно настырным хозяйчикам, – магазины, покупки и неспешная прогулка домой, к мужу и сыну.

За стойкость характера, а может, и за недюжинные деловые качества, ко дню рождения, а также в национальные и светские праздники Софа получала гору скромных, но недешевых подарков. И было за что, ведь к своей работе она относилась истово, с почти религиозным рвением. Иногда, в особо горящих случаях, когда времени в конторе попросту не хватало, переговоры приходилось переносить за столики близлежащих ресторанчиков. Над блюдами изысканной восточной снеди заказчики деловито обсуж-

дали тяготившие их проблемы. Эти увлажненные смазкой поршни, мнущиеся посреди распахнутых навстречу цилиндров, надсадное дыхание шатунов, стонущих от скольжения вдоль полированной шейки, вспышки свечей, подобные коротким молниям, взрывающие сдавленную поршнем жидкость...

Одним словом, и папе и маме хватало забот и без Гены. Они завоевывали мир, жгучий и страстный, проламывая, проминая в нем подходящую для проживания нишу.

Ближайший родственник, дед Исроэль, жил в Бней-Браке и влиять на воспитание внука мог только по праздникам. В общем и целом Гена остался предоставленным самому себе. Но зато, зато через несколько лет мечта сбылась – семья Тетельбоймов переехала в пентхауз.

И было: сразу после этого события в уютной среде обитания семейства Тетельбойм зажглась красная лампочка. Ну ладно, пусть не лампочка, но нечто блестящее, гарное такое из себя и к тому же красного цвета, немного заерзало, затрепыхалось в родительской груди.

– Что происходит с ребенком? – спросила Софа, примерно в полдвенадцатого ночи, покрывая лаком мизинец левой ноги.

Супруги возлежали на недавно приобретенном ложе в стиле Людовика XIV. Впрочем, такого количества завитушек, фальшивого винограда и прочих излишеств ни сам король, ни его придворные лицезреть не удостоились. Ножки у ложа были изогнуты под углом, ставящим под сомнение законы физики – у простых смертных кровать с такими ножками опрокинулась бы при первом же прикосновении. Но факт – она уверенно выдерживала немалый живой вес Тетельбоймов, даже не поскрипывая на особо крутых поворотах супружеской жизни. Как видно, безымянные арабские умельцы, склепавшие эту роскошь из подручных средств в кустарных мастерских Яффо, владели секретами, недоступными французским мебельщикам.

Подручными средствами явились доски багажных ящиков репатриантов, о чем свидетельствовала печать таможи города Чоп на внутренней стороне рамы. Сие приятное открытие Тетельбойм сделает года через три, пока же он возлежал на кровати из натурального бука, а не второсортной сосны, срубленной в районе Валдайской возвышенности. По всем правилам и законам доски эти должны были рассыпаться в прах еще под рубанком умельцев, но опять же, в полном несоответствии с законами физики, продолжали нести на себе груз семьи зубного техника.

В отличие от законов физики, Тетельбойм демонстрировал заведомую приверженность раз и навсегда усвоенным привычкам и лексикону.

— Мне кажется, он начал бриться, — отвечал он, меланхолически наблюдая виртуальный мордобой в популярной телепередаче "Пополитика". — Как ты думаешь, эта левая сволочь — пидарас или делается?

Ко всем своим прочим недостаткам или достоинствам — дело зависит только от позиции наблюдателя — Тетельбойм отличался крайне правыми взглядами. Усвоенный когда-то на уроках ГРОБа (гражданской обороны) принцип: ни пяди родной земли врагу — он нес сквозь перипетии и пертурбации израильской действительности, как святую хоругвь. Не разделяющих его воззрения Тетельбойм зачислял в отряд "пидарасов", а особенно злостных относил к подвиду "пидеров гнойных". Все прочее человечество проходило по разряду "козлов". Будучи абсолютно убежденным в собственной правоте, он давно перестал обращать внимание на аргументы и факты, относя первые к разряду пидарастической пропаганды, а вторые к пропагандированию пидарасизма. Короче говоря, это был интересный и остроумный собеседник.

— Да я не об этом, — Софа отставила ногу в сторону и принялась слегка помахивать ступней, давая возможность лаку поскорее засохнуть, — странный он какой-то, оценки вроде нормальные, жалоб из школы никаких, но странный, понимаешь, странный?

— Я понимаю, когда вынимаю, — пошутил Тетельбойм, выключая телевизор. — Переходный возраст, девочки и все такое прочее. Если хочешь, давай вызовем деда.

— Фуя, — Софа поморщилась, — какие девочки, он еще совсем ребенок.

Осторожно выдвинув ступню за край кровати, она стала на колени и, перегнувшись через Тетельбойма, поставила флакон с лаком на тумбочку. Скрываемые днем, а теперь прикрытые лишь тонкой тканью сорочки, достоинства Софы закачались над волосатым торсом зубного техника. Спокойно перенести такого рода действия могла только стиральная машина.

— Понимаешь, это странно, очень странно, — загудел Тетельбойм, загребая в ладони все, что удавалось загрести. Ухватившись покрепче, он потянул достоинства на себя. Жест этот трудно было назвать лаской, скорее он походил на движение, которым когда-то дергали цепочку сливного бачка.

– Жлоб! – резко распрямившись, Софа извлекла свою гордость.
– Ни поговорить, ни помилиться! Относишься ко мне, как к уни-тазу!

Не знаю, как другие сочинители, но для нас частная жизнь личности табу, тайна, окутанная мраком неприкосновенности. И не важно, что личность эта нами же созданный персонаж, между двумя обложками книги она обладает правами, которые мы сами так трепетно и тщетно взыскуем от социума.

Писатель в чем-то подобен Творцу, разница лишь в том, что для Него строительным материалом служат кровь и плоть, а для нас бумага и собственная фантазия. Так же, как Творец печется о чести и достоинстве человека, писатель обязан заботиться о своих персонажах. Они ведь беззащитны перед ударами его пера, как мы, люди, бессильны пред волей рока. И если судьба, вкупе с неблагодарным человечеством, не жалует нас сообразно достоинству и усилиям, почему бы не вознаградить себя хотя бы счастьем персонажей на страницах нами же написанных книг?

Если и существуют на свете идеальные решения, то мнение, походя высказанное Тетельбоймом, принадлежало к одному из них. Единственный, кто мог положительно повлиять на воспитание нашего героя, так это многократно упомянутый бней-браковский дедушка. И он бы и повлиял, если б дали. Сразу после покупки пентхауса гордый Тетельбойм пригласил отца восхититься и зауважать. Побродив минут с десять по комнатам, коридорчикам и закоулкам, полюбовавшись ландшафтом с крыши и выслушав пространное сообщение невестки о перспективах на ближайшее будущее, дед перешел к главной теме.

– Вид отсюда нормальный, – произнес он, осторожно выкушав стакан холодной воды из одноразового стаканчика. – А вот какие у вас виды на воспитание ребенка?

За столь вопиющее пренебрежение к планам на смену мебели и поездку в Европу он был наказан немедленно и беспощадно. Родители Гены, взрослые, хорошо зарабатывающие и очень самостоятельные люди, к себе и к своим словам привыкли относиться с уважением.

Пренебрежение – наиболее оскорбительное из всех видов оскорблений, и его израильтяне не спускают никому, включая собственных родителей.

"Израильтяне да, – спросит внимательный читатель, – но при чем здесь фальшивый зубной техник из Делятина?"

Браво, хороший вопрос. Люблю хорошие вопросы и внимательных читателей. Надо заметить, что по мере углубления в текст

вопросов у вас станет возникать все больше, а вот обнаруженных подсказок все меньше. Поэтому, не тратя времени на разъяснения, рекомендую читателю перелистнуть несколько страниц назад и попытаться самостоятельно ответить на заданный хороший вопрос. Это совсем не так трудно, как может показаться. Тут стоит только начать, а потом, когда пойдет, ответы покатятся такой лавиной, что вопросов станет не хватать, не говоря об ушах, способных выслушивать ваши ответы.

Особенно задел Софу одноразовый стаканчик.

– Что же это вы, папа, – спросила она, налегая на последнее слово, – уже и есть в нашем доме отказываетесь?

Есть в ее доме не стал бы даже самый отъявленный реформист, поскольку полки американского трехдверного холодильника были уставлены продукцией весьма преуспевающего, хоть и многими презируемого киббуца. Вы подозреваете самое страшное, вы затаили дыхание в ожидание этого, ужасного для еврейского слуха слова? Ну что ж, давайте произнесем его во весь голос, не стесняясь. Да, Софа любила свинину.

Ну как, никто не умер? Быстро ощупайте себя, ничего не отвалилось, все наружные и внутренние органы на месте? Подозреваю, что да. Жизнь и смерть слишком непросто случающиеся вещи, чтоб какое-то плохо отмытое животное могло составить им конкуренцию. Впрочем, как и во всех случаях, всегда найдутся люди, считающие иначе, но вряд ли они входят в число любителей художественной литературы.

Итак, Софа любила свинину. И не только она, но и ее муж.

– Кошерного много не съешь, – говаривал субботними вечерами Тетельбойм, наворачивая здоровенный кус буженины с хрустящим соленым огурчиком. – Невкусно, ей Б-гу, невкусно!

При чем тут Б-г, он вряд ли бы сумел объяснить. Да и пытаться бы не стал; слишком многие вещи в жизни Тетельбойм совершал и говорил по привычке, по навсегда приобретенной инерции. Его духовное пространство существовало вне трех законов Ньютона – один раз созданное движение продолжалось в нем до бесконечности. Впрочем, отдадим должное фальшивому зубному технику, в данном конкретном случае Б-г тут действительно был ни при чем.

Все, что относилось к области общения с вышними силами, в семье Тетельбоймов принадлежало деду Исроэлу. Это тягостное бремя он тащил с охотой и даже с удовольствием, в то время как остальные члены семьи нехотя платили дань в размере пасхального седера и йом-кипуровской голодовки. Застолбленную дедом

религиозную территорию Тетельбоймы предпочитали обходить пятой верстой. Вторжение, намеренное или неумышленное, каралось пространными упреками, нравоучениями и призывами к немедленному возврату на пути веры отцов. А кому такое может понравиться?

Бросив взгляд на перекосившуюся физиономию мужа, Софа поняла, что поваленные столбы с колючей проволокой остались за ее спиной. Вскочив с кресла и бормоча "ой, кажется, что-то горит", она попыталась дать задний ход, но было поздно. Распустив лассо и привстав на стремянах, дед помчался наперерез. Любимый конек играл под седлом, как поймавший талию картежник.

После получаса ожесточенной дискуссии стороны пришли к разумному компромиссу. Дед свернул лассо и спешил, за что получил родительское согласие два раза в месяц приглашать внука к себе на субботу.

Этим разговором закончилось так называемое воспитание Гены, а вместе с ним детство и отрочество. Если до сих пор он был почти полностью предоставлен самому себе, то после "до сих пор" его право распоряжаться своим временем и родом занятий стало монопольным.

Упомянутое несколькими строками выше родительское согласие, впрочем, как и все остальные согласия, достигнутые не грубой силой, а благоприобретенные в результате переговоров, нарушалось не только рядом, а просто сплошь, беззастенчиво и нагло, словно какая-нибудь там Женевская конвенция. Гена навещал деда с грехом пополам и через пень-колоду, что, несомненно, отразилось на его моральном облике и духовном росте. В итоге, его характер, сформировавшийся в атмосфере наплевательства и эгоизма, получился, выражаясь языком зубного техника, "не ай-яй-яй".

Честно говоря, социальную ячейку Тетельбоймов уже трудно было назвать семьей, каждый в ней существовал сам по себе, по своим законам, нормам и правилам. Удобство – вот, что пока удерживало вместе родителей Гены. Пока – кратковременное и непрочное слово. А что прочно в этом мире и что долговременно? И если на столь простые вопросы не существует вразумительного ответа, насколько осторожно и трепетно следует оценивать человеческую личность.

Следуя советам великих предшественников, не стоит объявлять характер дурным лишь на том основании, что он не безукоризненно хорош. Если кому и доводилось встречать в собственной жизни или услышать от друзей и знакомых о существовании

совершенных характеров – пусть немедленно сообщит автору. Принесший это объявление вместе с конкретными данными искомого образца получит солидное денежное вознаграждение. Кроме того, в качестве епитимьи за недооценку человечества, я обязуюсь немедленно переписать весь прилагаемый ниже и выше текст, от начала и до самого конца.

Пока же искомый образец не окажется под нашим писательским микроскопом, представляется мне, по совету все тех же великих предшественников, что слабости и пороки людей, в которых заключено, вместе с тем, и много положительных черт, сильнее бросаются в глаза по контрасту с хорошими качествами, осеменяющими их уродливостью. И когда видим мы гибельные последствия указанных пороков для лиц, нам полюбившимся, то научаемся не только избегать их, в своих интересах, но и ненавидеть за зло, уже причиненное ими тем, кого мы любим.

Уф! Говорят, что величие предшественников в том и состоит, что их можно цитировать без кавычек. Не по причине величия, а только на том простом основании, что никого из современных деловых людей ни за какие коврижки не заставишь изучать великое наследие, а уж тем более, ловить за руку неосторожных плагиаторов. Чем они и пользуются.

Гена, Гена... Не подтыкала край твоего одеяла заботливая рука матери, не строили для тебя сукку суровые руки отца. Запахи медового пряника и печеных яблок не стали для тебя запахами детства. Какие дали, кроме соседских крыш, уставленных водяными баками, открылись тебе с высоты родительского пентхауза, что, кроме холодной пустоты, ты находил под подушкой в новогоднюю ночь? Кто же посмеет осудить тебя, дитя педикюрши, кто упрекнет в отсутствии тонкости и чистоты, о сын фальшивого зубного техника?!

Глава вторая,
*в которой наряду с действующими лицами и местом
действия, начинают проявляться
обещанные пробелы в образовании читателя*

Только скучному и ленивому человеку может показаться, будто на улице время утекает сквозь пальцы, не оставляя по себе доброй памяти. Весь свой опыт, лексикон, сноровку, а также недюжинные познания в устройстве велосипедов, автомобилей, компьютеров и семейной жизни, Гена почерпнул на ней, широкой, благодатной и ослепительно жаркой реховотской улице. "Улица" –

конечно же, собирательное название, речь идет обо всех, без исключения, улицах святого города-героя.

И хоть в таком бурлящем и полнокровном населенном пункте, как Реховот, всегда есть, чем подзаняться, самое упругое, веселое времечко приходило с наступлением праздников. Тут уж Гена веселился от души, от всего обильного, возбужденно подрагивающего пуза. В каждой ветхозаветной церемонии, чинно отправляемой толпами записных святош и религиозных бездельников, таилась изюминка, сокрытая сладость, доступная лишь посвященным. Надо было только знать места, где дают эту радость, дабы заранее предусмотреть куда бежать и за что хвататься.

В грустный праздник Девятого Ава, когда ортодоксы, усевшись на полу, оплакивают разрушение Храма, Гена устремлялся в хабадскую синагогу. По милому обычаю этой хасидской общины, дети осыпают скорбящих отцов ядрышками бузины, неспелыми маслинами, косточками слив. Смысл и причины столь странного обычая Гену не интересовали. Заранее собранную бузину он аккуратно начинял кусочками свинца, превращая безобидные шарики в грозное оружие. Лично воспользоваться плодами нового сорта Гена не решался и поэтому предусмотрительно забывал мешочек на одном из столов. Спустя несколько минут чья-нибудь шаловливая рука подхватывала добычу, а еще через несколько – синагогу заполняли возмущенные крики и стоны. По прошествии четверти часа раввину приходилось прекращать чтение траурных псалмов и утихомиривать паству, а то и разнимать дерущихся. Гена наблюдал за всем великолепием содеянного им безобразия с женского балкона, и теплые волны радости согревали его сердце.

В Шавуот Гена становился сефардом. Не полностью, а лишь на ту, общую с марокканскими соседями часть, что позволяла окатывать друг друга водой из ведер, ушатов, шлангов, кастрюль, пластмассовых пистолетов, канистр, спрятанных на балконах детских ванночек и вообще всего, что отыщет и приспособит для исполнения обряда пытливый ум, не окончательно закосневший в рутине традиции. Откуда произошел сей странный обычай, в чем его смысл и предназначение, интересовало Гену не больше, чем метательные упражнения бравых хабадских пацанят. Уроженца Западной Украины влекло нечто общее, надобщинное, любезное его большому, открытому для всякого шалопайства сердцу.

"Смешение столь разных общин на крохотной территории, – думал Гена, непроизвольно копируя стиль толстого журнала, найденного на садовой скамейке и прочитанного от оглавления до

рекламы на последней странице, – неминуемо ведет к конвергенции культур. Так, например, марокканская лакуна, иницируя поведенческие архетипы ашкеназим, трансформирует традиционные обряды, успешно внедряя достижения современной науки".

Под достижениями науки Гена подразумевал крепкие целлофановые пакеты, которые за мизерные деньги можно было приобрести в любом супермаркете. Заполненные водой, они запросто пролетали до двадцати метров и, шлепнувшись об асфальт, разбивались на тысячи сияющих капель. Особо шустрые представители марокканской общины заранее наполняли десятки таких пакетов и весело проводили праздник Шавуот, устроившись на подходящем для метания балконе. Гена с удовольствием помогал в подготовке амуниции, собственноручно наполняя и увязывая пакеты. Его корысть, интерес и удовольствие состояли в том, что в качестве начинки он использовал не только чистую воду, но и другую, не столь невинную жидкость, произведенную его собственным организмом.

В Дни Трепета, в десять покаянных дней между Рош а-шана и Йом-Кипуром, Гена обосновывался на кладбище. Маленький складной столик он прятал на ночь между могилами, а поминальные свечи покупал в соседней лавчонке. Первые посетители появлялись на кладбище уже в семь утра, а к одиннадцати на громадной стоянке перед воротами парковаться приходилось почти впритирку. Основную массу составляли сефарды, они приезжали "хамулами" – семейными кланами, по двадцать-тридцать человек. Галдя и перекиваясь, хамулы разбредались по кладбищу, зажигая поминальные свечи на могилах всех близких и дальних родственников.

– Седмижды споткнется цадик, – выкрикивал Гена, разложив на столике свечи, – седмижды споткнется, но ни разу не упадет. Поминальные свечи с могилы Баба-Сали, святость и простота, отраженные в воске. Купите для мамы, поставьте папе и семижды семь раз они вспомнят о вас.

Гена поднимал глаза к небу и продолжал:

– Чернее ночи темнота могилы; холод и мрак, сырость и безмолвие. Но чу, что за скрип? Кто копошится в песке под недвижимым телом, кто, извиваясь, прогрызает саван?

Он замолкал и, склоняя голову, застывал, будто прислушиваясь. Шестым, неосознанным чувством, Гена держал паузу, длинную, как приклеенная борода провинциального трагика.

– Кроты, – он выпрямлялся, словно осененный догадкой, – это кроты роют свои норы, белые могильные черви без усталости ползут

к добыче. И никого рядом, ни одной живой души, только холод и мрак, мрак и холод. Но вот там, наверху, чья-то добрая рука зажигает свечу, свечу праведника, и несчастным, стынувшим в сгнивших саванах, становится легче. А добрая рука возвращается на следующий день и вновь зажигает святую свечу, и отступают черви, бегут в страхе кроты. А рука приходит еще и еще, и так семь дней подряд, семь праздников соучастия, бескорыстной помощи и любви.

– Евреи, – голос Гены прерывался, – милосердные, дети милосердных! Вот свечи, пролежавшие неделю на могиле святого Баба Сали. Пусть же заслуги праведника седмижды защитят вас и ваших покойных родственников, и скажем все – Омейн!

– Омейн! – дружно восклицали суеверные сфарадеи и пачками хватали свечи.

Прозрачный осенний воздух голубой стеной окружал кладбище. Редкие облака степенно проплывали высоко над головой, почти касаясь солнца косматыми боками.

"И что за легковерное существо – человек, – думал Гена, пересчитывая выручку. – Любую небылицу принимает за чистую монету, всякого шарлатана готов слушать с открытым ртом. Хоть кем назовись: пророком, каббалистом, сыном Любавичского ребе – поверят, да еще от просьб благословить не отобьешься".

Он застыл. Самые красивые ходы, как известно, рождаются неожиданно, сами по себе. И если существует хоть сколь-нибудь объективный критерий определения интеллекта, искать его нужно в способности к импровизации, нежданному взлету фантазии.

"А что, – подумал Гена, – в дети к ребе я не гожусь, а вот за внука вполне мог бы сойти".

Так на другой земле, под чужим небом и в ином веке возродился институт самозванных родственников.

На следующее утро Генин столик украсило объявление, написанное красной тушью.

"Свечи от Баба Сали вместе с благословением внука Любавичского ребе доставят незабываемое наслаждение душам ваших умерших родственников".

Поначалу клиенты сомневались:

– Что-то не похож, – качали головой сфарадеи, сравнивая Генину ряшку с аскетическим лицом Ребе. – И одет как-то странно,

– добавляли они совсем уже недоверчиво, разглядывая волосатые не по возрасту ляжки, едва прикрытые шортами.

Гена обиженно шмыгал носом.

– Моего покойного отца, – говорил он голосом, полным страдания и тоски, – выкрали большевики, когда ребе еще жил в России. Отец погиб на войне, сражаясь с Гитлером, а меня воспитали в детском доме. Ребе нашел меня уже здесь. Я бы давно уехал в Америку, но не могу оставить больную мать.

Он снова шмыгал носом и добавлял:

– Не хотите благословения – не надо. Но святость моего деда не убавилась от большевистского воспитания внука.

Суеверные сфарадеи покупали свечи и просили благословения. Нестыковка дат, фактов и прочая несуразица оставались где-то на втором плане сознания, и без того перегруженного историей других стран и другими войнами.

Гена важно возлагал руки на склоненные головы и декламировал нараспев:

– Седмижды семь споткнется цадик, споткнется, но не упадет. Пусть заслуги моих святых предков станут защитой для душ ваших родственников. Омейн!

– Омейн! – восклицали клиенты и, нагрузившись свечами, устремлялись к могилам.

По правде говоря, Гена и сам не понимал, для чего ему нужна эта комедия. Торговать он мог и без дополнительных усилий, цену за свечи дальше повышать было некуда. Но какая-то хвороба дергала и свербил нутро, зудила, толкая на приключения. Возможно, Гена был рожден для сцены, для внимания сотен заинтересованных глаз и втуне пропадающий талант не давал покоя его тучному телу. А может быть, где-то в глубине, под надежной пеленой жировой прослойки дремал авантюрист-проходимец из тех, кто закладывает основу крупным состояниям.

Все хорошее в жизни начинается не вовремя, а кончается практически сразу. Не успел Гена по-настоящему войти в роль, как черные тучи возмездия заволокли безоблачные горизонты большого бизнеса. На сей раз демоны мщения приняли облик раввинского сына.

– Жулик! – воскликнул сынок, срывая объявление со столика. – Жулик и шарлатан! У ребе никогда не было детей.

Он швырнул бумагу на землю и придавил каблуком, словно голову ядовитой змеи.

– Ну, ты, – зарычал Гена, отодвигая столик, – морда пейсатая, положи бумажку на место.

Глава третья,
*гастрономическая, повествующая о рецептах
приготовления блюд,
рекомендуемых к употреблению в холодном виде*

С сыном у Гены были старые счеты. Год назад, на Пурим, Гена притащил в синагогу настоящую полицейскую гранату. Не противотанковую и не осколочную, а из тех, что взрываются со страшным шумом, пугая чересчур расшалившихся демонстрантов. Впрочем, по внешнему виду она ничем не отличалась от боевой.

Гена утащил ее из дома своего приятеля, сына офицера полиции. Обнаружив пропажу, отец бросился к сыну, сын к Гене, но фигвам, индейское жилище. Гена стоял насмерть, сын плакал и клялся здоровьем мамы, офицера и всей "хамулы". Деваться было некуда, и шум потихоньку затих.

– Велика пропажа, – утешал Гена приятеля, – кто считает, сколько гранат бросил твой папа, разгоняя очередную демонстрацию.

Папа побесился еще немного и затих, а через два года, на комиссии по сокращению штатов, некий доброжелатель припомнил невесть куда запропастившуюся гранату, присовокупив к ней прочие мелкие грешки, что и послужило началом новой карьеры папы приятеля, уже не обремененного условностями, налагаемыми полицейской формой.

Во время чтения "Свитка Эстер", когда при имени Амана разодетая в карнавальные костюмы малышня начинает стрелять из игрушечных пистолетов, Гена пригнулся под сиденье, потихоньку выдернул чеку и катнул гранату вдоль прохода.

Времечко тогда стояло лихое, день через день взрывались автобусы, радио и телевидение призывали граждан к особой бдительности. Граждане не дремали, и каждый забытый пакетик с покупками прерывал движение транспорта минимум на полчаса.

Услыхав странный стук, раввин на секунду оторвал глаза от свитка, глянул вниз и оцепенел. Габай синагоги, проследив за взглядом раввина, действовал более решительно. В Талмуде он разбирался хуже своего начальника, но зато на военные сборы ходил два раза в год. Вид крутящийся гранаты моментально пробудил в габае основательно наработанные рефлексy; крикнув "Ложись!", он рухнул на пол ногами к гранате и прикрыл голову краешком таллита.

Еще никто не успел сообразить, что имел в виду габай, как раздался взрыв. Зазвенели выбитые стекла, синагога наполни-

лась клубами белого дыма и криками разбегающейся публики. В общем-то, никто не пострадал, но праздник оказался безнадежно испорченным. Наиболее ретивые прихожане отправились слушать чтение свитка в другую синагогу, а менее благочестивые публично принесли клятву забыть дорогу в этот вертеп насмешников. На следующий день сын раввина припомнил, как перед самым взрывом Гена пригнулся под сидение и заткнул уши. Габай был тотчас отправлен доставить обвиняемого, но вернулся ни с чем.

Гена, как обычно в таких случаях, стоял насмерть.

– Не знаю, не помню, доказывайте сами, – вот три кита, на которые опиралась линия его защиты.

Сын раввина утверждал свое, габай пригласил полицию, полиция привела Гену. Было много шума, угрожающих жестов и взаимных обвинений, но в итоге все закончилось привычным натягиванием полотнища, вбиванием колышков и торжественной установкой индейского жилища всеми участниками дискуссии.

Год прошел после тех достославных событий, встречаясь на улице, сын раввина отводил глаза, а Гена растягивал губы в скорбной улыбке Сакко и Ванцетти. Незаметно для себя самого он оттопыривал зад и сгибал голову, стараясь походить на вопросительный знак.

– За что? – безмолвно вопрошала его фигура. Пепел невинных жертв серым призраком клубился над его головой. – За что?!

Личина мученика личиной мученика, но под ней в глубине большого тела klokотала неутоленная месть, перевитая презрением к стукачу. И вот он настал, вожделенный, взыскуемый час, он пришел незаметно, пританцовывая на кончиках пальцев, выписывая па-де-кале и прочие коленкоры, ласково положил руку на плечо, как настоящий друг, верный испытанный товарищ, и шепнул чуть слышно, незаметным, пуховым движением губ: "А я уже здесь".

Сто планов промелькнули в Гениной голове, и каждый лучше, утонченнее другого. От элементарного трюка с сотрясанием мозга до обвинения в краже свечей и порче товара. Годи́лась также и обыкновенная драка с топтанием шляпы и надрывом рукавов. В своем физическом превосходстве Гена не сомневался, этого книжного задрюгу он мог повалить обыкновенным щелчком по носу, но примитивные приемы восстановления справедливости не подходили для столь изысканного случая. Поразмыслив еще пару секунд, Гена, как настоящий художник, решил отдаться экспромту, то есть пустить ситуацию по естественному руслу и плыть за ней, выгребая рулевым веслом в особо интересных местах.

Выбираясь из-за столика, он рычал и раздувал ноздри, усиленно изображая буйство стихий. Буйством, честно говоря, даже не пахло, и Гена пытался раздражить, вызвать его, словно камлающий шаман. Она всегда вывозила его, мягкая волна из глубин организма, стоило покатиться ей, всемогущей, откуда-то из-под ложечки, как проблемы и препятствия вдруг превращались в щепки, мелкий песок, влекомый цунами.

Погружённый в духовные проблемы, Гена и не заметил, как зацепил брюхом угол столика. Шаг, еще шаг – и незатейливое сооружение, подобрав под себя складные ноги, рухнуло на асфальт кладбищенской дорожки. Свечи покатались в разные стороны, а фотография Баба Сали, в позолоченной жестяной рамке, прошуршала прямо под ноги раввинскому сынку.

– Так, – произнес Гена зловещим тоном главного инквизитора. – Ну, и что сейчас будет?

А могло быть многое, ох, как многое. Грозные флюиды нарастающей бури солнечными зайчиками поскакали в разные стороны от багровеющего Гениного лица. Им стало страшно на раскаленной поверхности кожи, и побежали они, быстроногие, рассекая воздух острыми кромками напряженных ушей.

Раввинский сынок, предчувствуя недоброе, тоже покраснел и напрягся. Бежать было стыдно, пасовать перед жлобом и хамом еще стыдней, но в глубине души он уже сожалел о проявленной активности.

– Изгоняешь торговцев, – зарычал, распаляясь, Гена, – очищаешь святой Храм от нечестивых!

– Как ребе, как ребе действуешь, – продолжал он, напирая животом. – Ребе лотки перевёртывал, и ты вслед за ним!

Пузо затрепетало. Еще миг, еще секунда – и кто знает, чем бы закончился невинный инцидент на кладбище, но... Как всегда – но. Просто палочка-выручалочка для Высшей справедливости, последняя возможность смешать так, казалось бы, ловко разложенные карты.

Бросив взгляд на физиономию сынка, Гена обнаружил не страх или замешательство, а удивление.

"Вот сейчас костыльну разок, – с аппетитом подумал Гена, – будет знать, как разевать варежку".

Подумал и моментально забыл. Потому, что вспомнил сцену из исторического фильма, регулярно прокручиваемого по образовательному каналу Би-би-си. В фильме молодой человек с явно семитским лицом разгонял торгашей, по виду тоже семитов, но с

куда более отвратительными физиономиями. Что-то вспыхнуло в голове у Гены, зацепились невидимые сцепки где-то там, глубоко внутри мозговой ткани и недоумение раввинского сынка стало ясным, как пятно на заборе.

"Да и не понял он ни черта, – сообразил Гена, – он историй таких не слышал и фильмов таких не видел. Запрещены ему такие фильмы смотреть и такие истории слушать. Дикий, темный, малограмотный харидей".

Он еще катал эту сладкую, сочащуюся уважением к себе мысль, когда новое, потрясающе резкое действие всплыло перед его мысленным взором и застыло, перекрыв, будто монгольфьер, половину горизонта.

"Вот это будет забава, – сообразил Гена, – вот уж где воистину "раззудись рука, разоидись плечо".

План шкоды от первой до последней детали встал перед ним, без лесов и подмостков, сразу, как есть, величественный и точный, до самого последнего гвоздика. Спорить и ругаться с сынком стало незачем.

– Ну, ты, – сказал Гена, – чего стоишь, помоги собрать товар.

Сынок без долгих разговоров бросился собирать, Гена молча подобрал спорное объявление, смял его и сунул в карман. После чего высокие разбиравшиеся стороны повернулись друг к другу спинами и отправились каждый по своим делам.

Мир на земле Израиля, в реховотской ее части, казалось бы, восстановился. Казалось бы! Ого, еще как казалось!

Вы думаете, будто Гена просто так, за здорово живешь, свернул столь прибыльную торговлю и отправился восвояси. Или вам кажется, будто черный пиджак и шляпа отпугнули его, как мезуза отпугивает всякую нечисть? Зря, зря вы так. Не принимаете всерьез ни автора, ни героя.

Дорогу от кладбища домой Гена пролетел, словно "фау" на Лондон. Уже ничто не могло его задержать, замысел, всего несколько минут назад скрывавшийся в глубинах мозга, стремительно превращался в реальность.

Даже столь любимые руины винного погреба начала века он проскочил, будто курьерский поезд, – не останавливаясь.

Архитектуру Реховота как среду своего основного обитания Гена уважал. Убогие коробки застройки семидесятых годов казались ему вполне приличным уровнем градостроения, а от новых, вычурных проектов полуграмотных подрядчиков он немел, считая их шедеврами современного зодчества. Самыми древними

строениями в Реховоте были полузавалившиеся мазанки в бывшей тейманской деревушке Шаараим. Гене они казались старой стариной, хоть от роду им с трудом выходило лет восемьдесят. А перед сводами и арками винного погреба он простаивал часами, вдыхая запах нагретых на солнце камней и балдея от изумления, словно турист перед Нотр-Дам.

Гена любил Реховот. И не только потому, что, кроме Бней-Брака и Иерусалима, он ничего в своей короткой жизни не успел рассмотреть. Ему нравился город, наполненный солнцем и зеленью, нравилось ходить и бегать по его улицам, сидеть в парках, топтаться на рынке. Особенно любил он ночной Реховот, пустые, освобожденные от жужжащей толпы пространства, залитые желтым светом фонарей. Город без людей нравился ему куда больше. Неплохо выглядел он и ранним субботним утром, когда первые лучи начинали щекотать верхушку башни синхрофазотрона на окраине Института Вейцмана.

Стоя на крыше родительского пентхауза и облокотившись на влажные от ночной росы перила, Гена наблюдал, как толстые лиловые струи света безжалостно теснили темноту. Она уползала в расщелины домов, пряталась в густых кронах деревьев, но ненадолго – исход битвы был предрешен. Надышавшись прохладой, Гена сбегал вниз и вразвалочку пересекал свой район, Дения, направляясь к центральному парку.

Город еще спал; утомленные рабочей неделей и бытовыми хлопотами пятницы жители не спешили расставаться с уютом постелей. Только насупленные "литаим" сосредоточенно шествовали на первый миньян, завернувшись в бело-черную ткань талитов. Кисти, свисающие по краям, напоминали Гене попону ослика, на котором он катался в Иерусалимском зоопарке. Натыкаясь на глумливую улыбку пузатого подростка, "литаим" отворачивались и ускоряли шаг.

Возле парка Гена всегда пересекался с рыжим Мишкой – городским сумасшедшим. Определить его ненормальность можно было лишь по размашистым, неэкономным движениям. Во всем остальном он вполне походил на обыкновенного израильянина, может быть, чуть менее аккуратного, чем среднестатистический представитель.

Откуда он родом, невозможно было установить, Мишка свободно изъяснялся на всех известных и неизвестных языках, причем без акцента. Выходцы из Ирака принимали его за уроженца Багдада, с кишиневцами он говорил на красивом румынском, а